

НАЧАЛО ВЕКА 2008 / 2

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:
Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:
Александр КАЗАРКИН
Борис КЛИМЫЧЕВ
Римма КОЛЕСНИКОВА
Вениамин КОЛЫХАЛОВ
Дмитрий КОРО
Владимир КОСТИН
Валерий МАРКОВ
Валерий СЕРДЮК
Сергей ЯКОВЛЕВ

Адрес редакции:
634069, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369,
e-mail: nachalo_veka@mail.ru

При перепечатке материалов
ссылка на журнал «Начало века»
обязательна.
Мнения авторов не обязательно
совпадают с мнением редакции.

На обложке:
Татьяна Бельчикова
«Доходный дом»

Номер выпущен
при поддержке
администрации Томской
области

В НОМЕРЕ:

ГОСТЬ НОМЕРА

Хартмут Лёффель	2
Из Ключева	5
Из Рубцова.....	7

НАШИ ПЕРЕВОДЫ

Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф	10
Райнер Мария Рильке	13
Хартмут Лёффель	14

ПРОЗА

Владимир Колыхалов. Максим Сараев (роман). Часть 1	15
---	----

ПОЭЗИЯ

Вениамин Колыхалов. Стихи для детей	69
---	----

ПРОЗА

Виктор Арнаут. Одиножды один. (рассказ)	73
Сергей Данилов. Угол отражения (рассказ).	180

ДВА ВЗГЛЯДА

Александр Казаркин	88
Владимир Крюков	90

МАСТЕР

Татьяна Бельчикова	94
--------------------------	----

ПОЭТЫ УНИВЕРСИТЕТА	100
--------------------------	-----

ПРОЗА

Михаил Усков. Мечь (рассказ)	138
------------------------------------	-----

ПОРТРЕТЫ

К 100-летию М.Л. Халфиной	149
С. Заплавный. Т. Калёнова. Вверх по течению, к истоку (о Р.И. Колесниковой)	152

КРАЕВЕДЕНИЕ

Русские немцы	156
Т.Б. Иоганзен-Рюбке. Сибирская династия: три поколения семьи Иоганзен	159
В. Бойко. Ссылные декабристы в Томске и Нарыме	168

ПИСЬМА И ОТКЛИКИ

Письмо в редакцию	179
Отрывок из книги А.И. Солженицына «Двести лет вместе»	179

«Обогащая друг друга»



Прошлой осенью в Константинове я познакомился с немецким поэтом и переводчиком Хартмутом Лёффелем. Знакомство переросло в дружеские отношения. Мы вместе гуляли по родному селу Есенина, с высокого берега Оки восхищались чудесными видами, говорили о поэзии, подарили друг другу свои книги. После возвращения домой наше общение продолжилось при помощи электронной почты. Хартмут очень заинтересовался судьбой и творчеством Николая Клюева, и впервые строки нашего поэта в его переводе зазвучали на немецком языке. При моей небольшой помощи Хартмут перевел метрическим стихом 15 стихотворений Клюева (некоторые из его переводов приводятся ниже). Особенно ценно для нас, сибиряков, то, что среди переводов Лёффеля – поэтический памятник Клюева, его знаменитое стихотворение «Есть две страны: одна – Больница...», созданное поэтом в томской ссылке, незадолго до его гибели в 1937 г.

Как переводчик и соиздатель, Хартмут вместе с немецким поэтом и музыковедом Раймондом Дитрихом в 2004 г. выпустил книгу «Komm, Erde» («Земля зовет»), в которой впервые стихотворения русского лирика Николая Рубцова были переведены немецким метрическим стихом. Переводчики русского поэта поставили перед собой трудную задачу: по возможности максимально приблизиться к оригиналу, передать содержание и форму стихов Рубцова, даже во многом сохранить их ритмику и звукопись. Им хотелось, чтобы Николая Рубцова не только читатели, но и пели по-немецки. В этом им помог поэт и композитор Максим Викторович Козлов, автор музыки и исполнитель многих песен на стихи Рубцова. Он передал немецким поэтам-переводчикам свои диски с записью рубцовских песен для сличения. И мелодии его песен помогли им почувствовать музыку стихов Рубцова, передать ее в своих переводах. На презентации этой книги, состоявшейся 21 мая 2004 г. в московской библиотеке № 95, известный писатель и литературовед Сергей Станиславович Куняев дал высокую оценку немецким переводам Рубцова, заметив при этом, что русская и немецкая литература всегда взаимовлияли и взаимообогащали друг друга. Книга «Земля зовет» произвела в России настоящую сенсацию. Еще бы: оригинальная русская поэзия становится все ближе и ближе немецкому читателю! Наш журнал помещает подборку стихотворений Н. Клюева в переводе Хартмута Лёффеля на немецкий. Впервые Клюев звучит по-немецки на страницах томского журнала!

Представляем читателям также три стихотворения Николая Рубцова в переводе Хартмута Лёффеля. Переводы публикуются впервые.

Надеюсь, что мое интервью поможет нам лучше узнать немецкого писателя, познакомиться с его взглядами на современную литературу, с его пониманием непростого искусства перевода.

Валерий Доманский

В.Д. Когда вы серьезно увлеклись поэтическим творчеством?

Х.Л. Вначале я спросил себя, что такое хорошее стихотворение. Речь шла о критериях оценки. Только после этого теоретического разъяснения я начал писать сам. Seriously, однако, только примерно в 30 лет. Сюрреалистическая предметность характеризует эти первые стихотворения о природе. Однако в то же время я уже издал прозаические отрывки – сатирические! Реализм и сюрреализм существуют одновременно.

В.Д. В чем вы как писатель видите задачи современной литературы?

Х.Л. Каковы задачи современной литературы? Как всегда, «prodesse et delectare» – приносить пользу и радость. История, рассказанная мастерски, разве этого уже не достаточно? Она лучший посланник, чем все программы и манифесты. Рассказы, как и романы, воссоздают и проектируют действительность. Стихи, кроме того, развивают словарно и творчески язык и в лучшем случае ведут к новым, нерастраченным ощущениям. Это важная задача, прежде всего, метафоры. Следует принять во внимание, как, например, в русском языке, Есенин всегда по-новому видит и может по-новому изобразить своего постоянного спутника, луну. Изобретательная визуализация! Современна ли это стихотворение, меня не интересует, тем более, что в большинстве случаев под этим понятием подразумевается лишь нечто «новомодное». Текст является смысловой «тканью». Мне подходит это занятие прясть – виртуозно и густо словами.

В.Д. Ваши излюбленные жанры, темы?

Х.Л. Я издавал лирику, рассказы, а также драму. В моем прежнем творчестве имеется очень сильный сатирический и вместе с тем социально обусловленный компонент; с другой стороны – также полные фантазии фантастические элементы. К примеру, лирика и есть такой вид искусства. Одна из моих книг стихотворений называется «Стихи о времени и его конце». Рядом с текстами, соотносимыми с временем очевидным, имеются также апокалиптические. В моих рассказах речь идет постоянно о солистах, об одиночках на сцене жизни, и о людях, которые попадают без вины или по собственной вине в происшествия. «Предрасположенность к происшествиям» поэтому и является названием книги рассказов.

В.Д. Кто вы больше – реалист, постмодернист или...?

Х.Л. Из уже сказанного вытекает, какие тенденции пересекаются в моих книгах. Я никогда не могу рассматривать себя как представителя определенного направления. Я желал бы, но не могу подчиниться.

В.Д. В последние годы вы серьезно стали заниматься художественным переводом. Что вы можете сказать об этом непростом занятии? Какие трудности испытываете при переводе? Кто же переводчик – соавтор, интерпретатор, транслятор смыслов и художественных концептов или...?

Х.Л. а) Большая трудность при переводе с русского языка состоит в том, что русское метриче-

ское стихотворение свободнее в подборе рифмы, а также в ритме. «Неточная рифма» выглядит некорректной на немецком языке, прямо-таки прозаичной, иногда как будто бы создателем произведения является дилетант. И ритм в этом смысле ограниченнее в немецком языке, самое большее – два безударных слога могут следовать за ударным. Дактиль этому пример. В русском языке не имеется твердой границы. Это ставит переводчика в большое затруднение. Он может создавать только подобное на родном языке или, по крайней мере, придерживаться количества слогов, что весьма трудно, так как артикль в немецком языке, которого русский не имеет, является «слоговой неудачей».

б) Переведенное произведение должно быть, по моему мнению, также произведением искусства.

Это требует снова и всегда снова компромиссов, которые, конечно, также обусловлены интерпретацией. Поэтому то, что помогает сделать точный перевод стихотворения, не снимает противоречий. Птица с тяжелыми крыльями! Зрительная наглядность, как и слуховая – переводчик должен этому подчиняться. Да, в конечном счете, он соавтор, интерпретатор и все же обязан следовать оригиналу.

В.Д. Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Начало века»?

Х.Л. Я желаю читателям журнала «Начало века», а также и себе, чтобы развитие наших обеих культур навстречу друг другу, которое происходило на протяжении веков, взаимно обогащало. Недавновидная политика разделяла нас достаточно долго!

Из Николая Клюева

* * *

Я надену черную рубаху
И вослед за мутным фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрему паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поёмные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась –
Не вовремя косынька
На две расплелась!

Развилась по спинушке,
Как льняная плетъ, –
Не тебе, детинушке,
Девушкой владеть!

Дерева вилавого
С маху не срубить –
Парня разудалого
Силой не любить!

Белая березонька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою!..

Но прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон, крошечный, как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

<1908>

* * *

Mein schwarzes Hemd streif ich über
und folg dem matten Laternenlicht
über den Hof zum Richtplatz hinüber
mit ruhigem und zärtlichem Gesicht.

An Mutter denk ich, ihr Spinnrad, das bunte,
den blauen Abend, das Schlafnetz der Spinne,
vorm Fenster die Dohle zur nächtlichen Stunde
und auf dem Sims die Balsamine,

kann Wiesen und Weite der Auen,
den ruhigen Rain mit dem Schnitt,
das Perlenmuster der Wolken schauen
und hör im Roggen das Mädchenlied:

Der schmale Weg, gar nicht weit,
hat sich zum Keil verengt –
der Zopf, zur Unzeit enzweit,
nun ungebunden hängt!

Fällt über den Rücken
als leinene Peitschenschnur –
Dir Kerl wird es nicht glücken,
du kriegst sie? Keine Spur!

Das knorrige Bäumchen
durchschlägt er nicht einfach so –
den so kühn Erträumten
liebt sie nicht dermaßen roh!

Das schneeweiße Birkchen neigt
sich weit zum Regen hin ...
Zählt nicht, Herr Kuckuck, und schweigt,
wann ich gestorben bin! ...

Doch die lenkende Turmuhr bezwingt
das Volkslied mit eisernem Klang ...
Hirngespinnste! Der Flussarm singt
mit dem Schilfrohr am Ufer entlang.

Ein Alptraum so schwarz wie das Grab!
Der fischende Tag holt sein Segel ein.
Und in den Dörfern den Strom hinab
tränen Lichter mit trübem Schein.

* * *

В златотканые дни сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старины
Заметает листвою шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чашей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.
<1911>

* * *

Есть две страны; одна – Больница
Другая – Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывную кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:

«Ку-ку! Откройте двери, люди!».
«Будь проклят, полуночный пес!
Кому ты в глиняном сосуде
Несешь зарю апрельских роз?!

Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину...».
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну.

* * *

Goldgewebte Septembertage!
Der Waldrand scheint zum Säulenbau verzweigt.
Kiefern beten, während Weihrauch vage
über deine leere Hütte steigt.

Der Wächter-Wind verwischt die alten
Spuren mit raschelndem Blätterwehn.
Lass das Kiefernornament sich spalten,
hinterm Birkendickicht lass dich sehn!

Ich kenn dein Tuch, vom Rand her gerafft,
das Stimmchen als wendiges Schweben ...
Die Kiefern flüstern von Dunkel und Haft,
vom Sternensflimmern hinter den Stäben,

vom Glöckchen auf der grausamen Fahrt,
vom grauen Land der Burjaten...
Friede euch, Kiefern, Mutter mir wart
und habt die Gedanken erraten!

Gedenkende Septembertage
ihr wisst, wie sie in Liebe verschied,
und kennt des Sohns geheime Frage,
dies teilt dem Himmel und der Erde mit.

* * *

Zwei Länder gibt's: das Krankenhaus links –
rechts den Friedhof, zwischen beiden
die Kiefernkette, so trüb wie rings
die tristen Tannen und Weiden.

Ich tapp am düsteren Wald entlang,
die Krücke verschwand in die Nacht,
und wie der Kuckuck im Sprechgesang
klopf ich beim Kerl, der Särge macht:

«Ku-kuk! Öffnet! Die Tür auf, Leute!»
«Verflucht, wem bringst du Hundesohn
aprilbeschwipst die Rosenbeute,
das Morgenrot im Topf aus Ton?!

Erstickt der Frühling, Gestöber flicht
Grauhaar in die Zottelföhren ...»
Doch tapp ich zum fahlen Fensterlicht
und kann das Webknirschen hören.

И вижу: тетушка Могила
Ткет желтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность строк.

В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчицной трубы.
Читаю нити: «Н. А. Клюев,
Певец олонецкой избы!».
25 марта 1937

Из Николая Рубцова

ПЛЫТЬ, ПЛЫТЬ...

В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд! —
Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит,
Мимо церковных рам,
Мимо семейных драм...

Скучные мысли — прочь!
Думать и думать — лень!
Звезды на небе — ночь!
Солнце на небе — день!

Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы,
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз...

Если умру — по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.

Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!

Плыть, плыть, плыть...
(1970)

Ich seh: Tantchen Grab webt ein Laken,
seh das Schiffchen am gelben Tuch
und im huschenden Fadenschlagen
wächst der Stoff wie Zeilen im Buch.

Und im Wipfeltanz und Windgekläff,
vom Wolfstrompeten durchschnitten,
da les ich die Schrift: «N. A. Klujev,
der Sängler der Bauernhütten!».

MIT, MIT ...

Dösend im heißen Dunst
rüttelt ihn wach, den Fjord!
– He, Kapitän! Mit Gunst
nimm mich zuerst an Bord!

Mit, mit, mit
Gräbern entlang im Schritt,
an manchem Turm vorbei,
Dramen und Quälerei ...

Trübes Gespinst, verlacht!
Grüble wer grübeln mag!
Sterne am Himmel – Nacht!
Sonne am Himmel – Tag!

Mit, mit, mit
Weiden entlang im Schritt,
rufenden Augen dort –
und von den lieben fort ...

Holt mich der Tod – getrost
zünd keine Kerze an!
Schick den Verwandten Post,
komm und besuch mich dann.

Wo ich verscharrt, erfrag
fernab und mancherseits,
jeder in Rußland mag
auf seinem Grab – ein Kreuz!

СЕНТЯБРЬ

Слава тебе, поднебесный,
 Радостный краткий покой!
 Солнечный блеск твой чудесный
 С нашей играет рекой,
 С роцей играет багряной,
 С россыпью ягод в сеньях,
 Словно бы праздник нагрязнул
 На златогривых конях!
 Радуюсь громкому лаю,
 Листьям, корове, грачу,
 И ничего не желаю,
 И ничего не хочу!
 И никому не известно
 То, что, с зимой говоря,
 В бездне таится небесной
 Ветер и грусть октября...
 (1970)

ПЕСНЯ

Отцветет да поспеет
 На болоте морошка —
 Вот и кончилось лето, мой друг!
 И опять он мелькает,
 Листопад за окошком,
 Тучи темные вьются вокруг...

Заскрипели ворота,
 Потемнели избушки,
 Закачалась над омутом ель,
 Слышен жалобный голос
 Одинокой кукушки,
 И не спит по ночам коростель.

Над притихшей деревней
 Скоро, скоро подружки
 В облаках полетят с ветерком,
 Выходя на дорогу,
 Будут плакать старушки
 И махать самолету платком.

SEPTEMBER

Ruhm dir, du strahlende Stille,
 freudvoller, kurzer Genuß!
 Himmlisches Glänzen in Fülle
 spielt dort mit unserem Fluß,
 spielt mit dem Hain, seinem Purpur,
 ist auch den Moosbeeren hold,
 was für ein Licht, welchen Fests nur
 gießt auf die Pferde sein Gold!
 Blätter und Kühe und Krähen,
 wie mich das Bellen erfreut,
 nichts will ich, möchte nur sehen,
 nichts sonst erhoff ich mir heut;
 weiß, daß im strahlenden Abgrund
 Wehmut und Wind sich verlieren,
 bis zum Oktober verwahrt und
 schon mit dem Winter parliern ...

LIED

Nach dem Blühn reift die Beere
 und das Moor läßt sie treiben —
 ja, der Sommer erschöpft sich, mein Freund!
 Wie es bald wieder flimmert,
 fällt das Laub vor den Scheiben,
 wie die Wolkenschar kraushaarig streunt...

Drüben kreischt eine Türe,
 und es dunkeln die Hütten,
 wie die Tanne sich schwankend bewegt!
 Hör die Klage des Kuckucks,
 ihn auch nachts nicht ermüden,
 und die schlaflose Wachtel, die schlägt.

Übers dörfliche Schweigen
 fliegen bald die Gefährten,
 mit dem Wind und den Wolken vereint,
 und die Greisinnen winken
 mit dem Tuch und Gebärden,
 und sie folgen dem Flugzeug verweint.

Ах, я тоже желаю
На просторы Вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.

Жаль мне доброе поле,
Жаль простую избушку,
Жаль над омутом старую ель...
Что ж так жалобно плачет
На болоте кукушка?
Что ж не спит по ночам коростель?
(1969)

Ach wie sehr ich mich sehne
in die endlose Weite,
möchte auch mit am Herbsthimmel sein!
Doch in finsterner Gegend
weiß ich wohl, wie ich leide,
fällt das Licht meiner Heimat herein.

Und mich rufen die Felder
und die einfache Hütte,
wie die Tanne sich schwankend bewegt...
Warum klagt nur der Kuckuck
dort im Moor nimmermüde?
Und warum wohl die Wachtel so schlägt?

Аннетте фон ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ**ОТ ПЕРЕВОДЧИКА**

Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф – великая немецкая поэтесса первой половины XIX века. Её жизненный путь начался в 1797-м и завершился в 1848 году.

Напрасно искать переводы её стихотворений в русских изданиях.

Причин тому несколько. Фон Дросте-Хюльсхофф – аристократка, а неприязнь к титулованным особам от русских демократов XIX века унаследовали и советские литературные деятели. Можно назвать и чуждое России вероисповедание – она католичка. И, наконец, сложный мир образов, множество намёков и ассоциаций из области мировой культуры, выразительный язык, где каждое слово насыщено, как мазок художника.

Стихи Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф взяты из книги, изданной в Мюнхене в 1989 году.

Mondesaufgang

An des Balkones Gitter lehnte ich
Und wartete, du mildes Licht, auf dich.
Hoch über mir, gleich trübem Eiskristalle,
Zerschmolzen schwamm des Firmamentes Halle;
Der See verschimmerte mit leisem Stöhnen,
Zerfloßne Perlen oder Wolkentränen? –
Es rieselte, es dämmerte um mich,
Ich wartete, du mildes Licht, auf dich.

Hoch stand ich, neben mir der Linden Kamm,
Tief unter mir Gezweige, Ast und Stamm;
Im Laube summte der Phalänen Reigen,
Die Feuerfliege sah ich glimmend steigen,
Und Blüten taumelten wie halb entschlafen;
Mir war, als treibe hier ein Herz zum Hafen,
Ein Herz, das übervoll von Glück und Leid
Und Bildern seliger Vergangenheit.

Das Dunkel stieg, die Schatten drangen ein –
Wo weilst du, weilst du denn, mein milder Schein! –
Sie drangen ein wie sündige Gedanken,
Des Firmamentes Woge schien zu schwanken,
Verzittert war der Feuerfliege Funken,
Längst die Phaläne an den Grund gesunken,
Nur Bergeshäupter standen hart und nah,
Ein düstrer Richterkreis, im Duster da.

Und Zweige zischelten an meinem Fuß
Wie Warnungsflüstern oder Todesgruß;
Ein Summen stieg im weiten Wassertale
Wie Volksgemurmel vor dem Tribunale;
Mir war, als müsse etwas Rechnung geben,
Als stehe zagend ein verlornes Leben,
Als stehe ein verkümmert Herz allein,
Einsam mit seiner Schuld und seiner Pein.

ВОСХОД ЛУНЫ

К балконным я перилам подошла
И там тебя, мой мягкий свет, ждала.
Как нечто сумрачное, ледяное
Плыл небосвод высокий надо мною,
И озеро мерцало с тихим звоном,
Слезами облаков произведённым.
И моросило, и сгущалась мгла,
И я тебя, мой мягкий свет, ждала.

Со мною рядом лишь верхушки лип,
Их высь стволы и ветви вознесли.
Рой насекомых здесь, в листве, струится,
Я вижу светлячка, что вверх стремится,
Цветы уходят в сон, как будто в плаванье,
Мне кажется, относит к тихой гавани
И сердце, где страданья через край,
Но прошлое там – счастье или рай.

Уж темнотою Божий мир одет,
Но где ты, где ты, мой неяркий свет?!
Ночные тени мыслей своевольных
Качались тихо на небесных волнах,
Луч светлячка дрожал, но тьма сгустилась,
И насекомые давно к земле спустились,
И лишь вершины гор во мраке вдруг
Предстали, как судейский строгий круг.

И ветви шепчутся у ног моих,
О чем предупреждает шепот их?
Гудение внизу напоминало
Народный ропот перед трибуналом,
Как будто мне предъявлен счёт неясный,
И жизнь стоит потерянна, несчастна,
Погибшее явилось сердце мне
С мученьем и виной наедине.

Da auf die Wellen sank ein Silberflor,
 Und langsam stiegst du, frommes Licht, empor;
 Der Alpen finstre Stirnen strichst du leise,
 Und aus den Richtern wurden sanfte Greise;
 Der Wellen Zucken ward ein lächelnd Winken,
 An jedem Zweige sah ich Tropfen blinken,
 Und jeder Tropfen schien ein Kämmerlein,
 Drin flimmerte der Heimatlampe Schein.

O Mond, du bist mir wie ein später Freund,
 Der seine Jugend dem Verarmten eint,
 Um seine sterbenden Erinnerungen
 Des Lebens zarten Widerschein geschlungen,
 Bist keine Sonne, die entzückt und blendet,
 In Feuerströmen lebt, in Blute endet –
 Bist, was dem kranken Sänger sein Gedicht,
 Ein fremdes, aber o ein mildes Licht.

Die Bank

Im Parke weiß ich eine Bank,
 Die schattenreichste nicht von allen,
 Nur Erlen lassen, dünn und schlank,
 Darüber karge Streifen wallen;
 Da sitz' ich manchen Sommertag
 Und laß mich rösten von der Sonnen,
 Rings keiner Quelle Plätschern wach,
 Doch mir im Hetzen springt der Bronnen.

Dies ist der Fleck, wo man den Weg
 Nach allen Seiten kann bestreichen,
 Das staub'ge Gleis, den grünen Steg,
 Und dort die Lichtung in den Eichen:
 Ach manche, manche liebe Spur
 Ist unterm Rade aufgefliegen!
 Was mich erfreut, bekümmert, nur
 Von drüben kam es hergezogen.

Du frommer Greis im schlichten Kleid,
 Getreuer Freund seit zwanzig Jahren,
 Dem keine Wege schlimm und weit,
 Galt es den heil'gen Dienst zu wahren,
 Wie oft sah ich den schweren Schlag
 Dich drehn mit ungeschickten Händen,
 Und langsam steigend nach und nach
 Dein Käppchen an des Dammes Wänden.

Und du in meines Herzens Grund,
 Mein Heber schlanker blonder Junge,
 Mit deiner Buchs' und braunem Hund,
 Du klares Aug' und muntre Zunge,

Вот на волне полоска серебра –
 Мой тихий свет, пришла твоя пора.
 Погладил ты альпийский грубый камень,
 И судьбы кроткими предстали стариками,
 И трепет волн ты превратил в улыбку,
 Я видела: светились капли зыбко
 На сучьях, будто в окнах в час ночной
 Мигает лампы огонёк родной.

Луна, мой поздний друг, моя луна,
 Ты юностью поделишься сполна,
 Моим воспоминаньям придавая
 Свой нежный отблеск. Ты душа живая,
 Не солнце, что слепит и восхищает,
 Живёт в огне, кроваво умирает.
 Певцу больному утешенья нет
 Милей, чем ты, чужой, но нежный свет.

СКАМЬЯ

В том парке знаю я скамью,
 Не так укромна и тениста,
 И лишь ольха кладет свою
 Тень тонкую покровом чистым.
 День летний просит: посиди,
 Позволь, пусть это солнце лется.
 Здесь не звенят ручьи. Один
 Родник, источник в сердце бьется.

Клочок земли, со всех сторон
 Просматривается дорога,
 Пыль в колее, зеленый склон,
 Дубы, растущие широко.
 Ах, сколько милых мне примет
 В пыли под колесом пропало,
 То, что пришло оставить след
 И радостью моею стало.

Ты добродушнейший старик,
 Мы двадцать лет хранили дружбу,
 А путь не труден, не велик,
 Когда несешь святую службу.
 Пытался ты порыв ветров
 Сдержатъ неловкими руками,
 И видела я: вновь и вновь
 За дамбой шапочка мелькала.

И ты, сокровище мое,
 О юноша светлоголовый,
 Твоя собака и ружье,
 И ясный взор, и живость слова.

Wie oft hört' ich dein Pfeifen nah,
 Wenn zu der Dogge du gesprochen;
 Mein lieber Bruder warst du ja,
 Wie sollte mir das Herz nicht pochen?

Und manches was die Zeit verweht,
 Und manches was sie ließ erkalten,
 Wie Banquos Königsreihe geht
 Und trabt es aus des Waldes Spalten.
 Auch was mir noch gebheben und
 Was neu erblüht im Lebensgarten,
 Der werten Freunde heitrer Bund,
 Von drüben muß ich ihn erwarten.

So sitz' ich Stunden wie gebannt,
 Im Gestern halb und halb im Heute,
 Mein gutes Fernrohr in der Hand
 Und laß es streifen durch die Weite.
 Am Damme steht ein wilder Strauch,
 O, schmäählich hat mich der betrogen!
 Rührt ihn der Wind, so mein' ich auch
 Was Liebes komme hergezogen!

Mit jedem Schritt weiß er zu gehn,
 Sich anzuformen alle Züge;
 So mag er denn am Hange stehn,
 Ein wert Phantom, geliebte Lüge;
 Ich aber hoffe für und für,
 Sofern ich mich des Lebens freue,
 Zu rösten an der Sonne hier,
 Geduld' ger Märtyrer der Treue.

Твой свист тогда слыхала я –
 Так разговаривал ты с догом,
 Мой милый брат, душа моя,
 То сердцу говорит о многом.

О, дней минувших пелена!
 О, эта времени завеса!
 Как будто топот скакуна,
 Невидимого в чаше леса.
 И мне остался только звук,
 Сад жизни, знаю я, не вечен,
 Моих друзей весёлый круг
 Совсем в иных местах я встречу.

Сижу я – времени раба –
 То во вчера, то здесь, сегодня,
 Моя подзорная труба
 Меж тем окрестности обводит.
 На дамбе виден дикий куст.
 Под ветром он зашевелится,
 И мне подумается: пусть
 Всё дорогое возвратится.

То кажется, что он идет
 И предстает почти знакомым,
 То на откосе он замрет
 Обманом, подлинным фантомом.
 Надеюсь до исхода дней
 Под этим солнечным разливом
 Сидеть и верности моей
 Быть мучеником терпеливым.

Перевод Владимира Крюкова

Райнер Мария Рильке

Die Braut

Ruf mich, Geliebter, ruf mich laut!
 Laß deine Braut nicht so lange
 am Fenster stehn.
 In den alten Platanenalleen
 wacht der Abend nicht mehr:
 sie sind leer.

Und kommst du mich nicht
 in das nächtliche Haus
 mit deiner Stimme verschließen,
 so muß ich mich aus meinen
 Händen hinaus
 in die Garten des Dunkelblaus
 ergießen.

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
 als welkten in den Himmeln
 ferne Gärten;
 sie fallen mit verneinender
 Gebärde.

Und in den Nächten fällt
 die schwere Erde
 aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
 Und sich dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher
 dieses Fallen
 unendlich sanft
 in seinen Händen hält.

Невеста

Позови меня, мой милый,
 позови к себе на встречу,
 не давай твоей невесте у окна стоять одной.
 Не на страже больше вечер
 у платановой аллеи:
 пусто там.

Если ты не возвратишься
 в дом ночной,
 чтоб тихим голосом
 запереть меня скорее,
 рук ручьями мне излиться
 в те сады, где синь
 и темь.

Осень

Листья падают, падают, исчезая,
 сады в небе дальние
 увядают;
 жест паденья листвы –
 отрицанье.

Земля падает в сумрак ночи
 среди звезд
 в своем одиночестве.

Все мы падаем. Вот рука, она тоже падает,
 и другие уже не радуют.

Лишь Один есть,
 который живет на устах,
 и все эти паденья –
 в его нежных руках.

Перевод Валерия Доманского

Хартмут Лёффель

Nachtsarg

Milchig dehnen sich die Wolken,
noch ein Fleck durchsonntes Blau,
Vögel, die sich schwarz verfolgen,
Nebelberge: schimmelgrau.

Doch die Blätterfackeln brennen,
sprühen unterm Blasebalg,
was sich sträubt, es wird sich trennen,
deckt den grünen Katafalk:

hier entfaltet, dort geduckt,
ehe ihn die Nacht belegt,
wächst, sich bis zur Sonne streckt –
und die Welt verschluckt.

l

Schneemorgen

Doppelgänger auf den Zweigen,
Dächer, Hügel aufgehellt,
Nachgezeichnet, abgekupfert
und mit keinem Strich verfehlt.

Faserbirken – Filigran,
fein durchbrochne Spitzendecke:
übern Nadelbaum gebreitet
und die grün grundierte Hecke.

Lockre Linien, leicht toupiert,
Schattenränder flockenkenntlich –
und der Wolkenhimmel hell:
gleißend und im Blau unendlich.

Ночной саркофаг

Небо обложили тучи,
Солнца глаз едва сквозь щель заметен,
Птицы, тени вслед летучие,
Гор туман: седая плесень.

Ещё листья-факелы горят,
раздувает мех кузнечный пламя,
что прошло, не возвратит назад
на зеленом катафалке.

Здесь прямится, там сутулится,
ночь его накроет, позаботится,
прорастет, растянется до солнца –
и весь мир проглотит.

Снежное утро

Стволы и ветки он двоит,
холмы и крыши дачные,
рисует копии, лудит –
и нет эскизов неудачных.

Берез волокна – филигрань,
опрыскивает кисти изморозь:
объемной сделал хвой ткань,
зеленую грунтует изгородь.

Размыты линии слегка,
и тени на снегу пастельные –
светлеет небо, облака
в лазури тонут беспредельной.

Перевод Валерия Доманского

Владимир КОЛЫХАЛОВ**МАКСИМ САРАЕВ***(роман)***ЧАСТЬ ПЕРВАЯ****1**

Пятые сутки ехал Максим Сараев в плацкартном вагоне дальневосточного поезда, и чем дальше его увозили от милой прохладной Сибири, тем угнетающе становилась вокруг духота. Но скоро дорожные неудобства должны были кончиться: в Славск прибывали часа через три...

Городок вырастал постепенно из белого зыбкого марева. Прокаленная пыль клубами висела над улицами, заслоняя постройки, деревья, людей и машины. Серый асфальт на перроне расплавил, он податливо мялся под каблуками и чадил до того едко, что щипало глаза, а в горле першило. Все живое окрест изнывало от жажды и ожидало в томительной муке дождя. Но в безоблачном небе ярилось огромное солнце, подбигаясь лениво к полуденной высоте.

«И занесло же меня в это пекло! — не без досады подумал Сараев и оглядел большую пустынную площадь. — Появись сейчас здесь верблюды, и я нисколько не удивлюсь».

Во рту пересохло. Сараев заметил колонку и, подойдя, долго пил тепловатую воду. Истома пропала, теперь можно было шагать...

Уже миновав площадь, Максим с любопытством заметил невдалеке от себя человека в соломенной шляпе почти без полей, в синем потертом костюме, запачканном чем-то тягучим и светлым. Подойдя к человеку поближе, Максим убедился, что это рыбак. А ко всем рыбакам он с детства питал нежную слабость. Этот был как раз по плечо Максиму. И лицо у него было мелкое, птичье — морщинистое, с уродливым левым глазом. Рыбак смотрел на Максима насмешливо, добро, щерил прокуренно-желтые редкие зубы.

— Дитяtko, только для вас, — сказал негромко рыбак, показывая себе пальцем под ноги.

На разостланной мешковине лежали рыбешки — пузатые, черные, большеголовые и совершенно без чешуи.

— Вижу, что вы нездешний! — сказал рыбак. — Поясняю, послушайте... Это ротан-головешка. По-латыни не помню... Ротан в наших местах распространен повсеместно. Неприхотлив и зимует в мелких озерах. Выживает, даже вмерзая в лед. Клюет на голый крючок. Не шучу! В аквариумах — незаменимый ассенизатор.

Сначала Максим улыбался, теперь хохотал. Впервые он видел торговца, который бы так неуклюже старался сбыть свой товар.

— Как вы... неловко, право, — сказал Сараев, давя в себе смех. —

Назвали рыбу ассенизатором, живучестью уподобили подколодной змее и хотите, чтобы у вас ее рвали с руками.

— Э-ге! — присвистнул рыбак. — Много вы знаете, вижу. В жареном виде ротан-головешка имеет мягкое белое мясо и сладкие нежные кости. То есть... рыбка почти без костей... Да что я вам здесь об этом толкую! — Рыбак сделал сердитый вид. — Молоды! Рьяно беретесь судить... Сегодня вы рыбу мою по виду отринули, а завтра толкнете бедного человека... такого, как я. Упаду, так и ноги об меня вытрете.

— Никогда в жизни! Что вы! Ни за какие деньги, — Максим все еще улыбался.

— Было бы славно... А что, есть у вас закурить?

— Некурящий...

— А вышить?

— Пью в меру и только по праздникам.

— А у меня, дитяtko, праздник, когда мне весело и когда деньги есть. Сейчас мне весело с вами, но денег у меня нет.

— Досадная вещь!

— Да вы одолжили бы мне червончик...

— С великой охотой.

— Неужто? Вот человек! Простите, что плохо подумал. Первое впечатление бывает обманчиво... Честь имею представиться: Чуфистов, Иван Фомич. Запомнить легко. А вас как зовут... Замечательно! Будем знакомы.

Чуфистов пришел в приятное возбуждение.

— Верьте мне, я человек надежный и благонадежный. Должок вам верну, а нет — уступлю редкость какую-нибудь. «Историю русской словесности» Полевого не купите ли? Недорого запрошу. А впрочем... Впрочем, пока воздержусь! Что мы стоим? Проходят люди, а я никого не зову... Дамочка, эй, остановитесь! Пожалуйте рыбки купить. Свежая, мягкая... Не вы, так кошка за милую душу... Не желаете? Да...

Чуфистов свалил ротанов вместе с травой в мешок, закинул мешок за спину, нахмурился.

— Мне надо спешить. Куда? На поминки... Умер швейцар нашего ресторана «Якорь» Погонышев. Я его знал и даже, в былое-то время, общался с ним. Долг обязывает... Нет, я слезы по нем не пролью. И сын его не пролет! Вы сына его не знаете? Ну вы же новый, нездешний! Чудак я... Не знаете, так узнаете. Газетку возьмете, а там — фельетон. Погонышев-младший все больше сатиру пишет. Способный, может быть, даже талант. А с отцом они жили в полном разрыве. И все-таки смерть... Она побуждает к жалости, велит сострадать. Прощайте пока...

— Минутку, Иван Фомич... Как мне отсюда пройти кратчайшим путем к гостинице?

— Кратчайшим нельзя, — замотал головой Чуфистов. — Гостиница в Славске одна и тоже, как ресторан, именуется «Якорь». Сперва вы пойдете вдоль линии, затем по Приреченской улице вверх. В самом конце ее будет архиерейская дача, а проще — старая роща на берегу реки. Там, за рощей, вы и найдете гостиницу.

— Архиерейская дача... Это что же — от старых времен?

— Да, была там владычная дача. И собор тоже был... Теперь ни того, ни другого. Дачу в двадцатом японцы сожгли... невзначай, а собор мы сами разрушили... с намерением.

— Большой был собор?

— О пяти куполах... К сведению вам, город у нас невелик, много домов деревянных, но у каждого города норов свой есть. Так считают, и правильно. Походите себе на досуге да поприглядывайтесь... Прощайте еще разок. Чувствую — скоро увидимся...

Приреченская расхлестнулась по берегу многоводной реки на коломенскую версту, текла да текла, пока за оврагом не растеряла дома свои и домишки и не вылилась вдруг на поляну, широкую и травянистую, будто луг. За этой поляной кустилась и зеленела роща. Тут были кривые березы с черной шершавой корой, ветвисто-кудрявые ясени, бархат, дубы, маньчжурский орех. Максим с интересом глядел на такую растительность.

В одну сторону роща была непроглядно темна, в другую заметно редела, и там, в просветы стволов и листвы, непотревоженной синью сквозила река под зноем... Владычная дача стояла, наверно, во-он у того обнажения, у той живописной скалы. А дальше, на ровном пространстве, должно быть, собор возвышался... Здесь ему было место, здесь он сиял куполами, отражаясь в текучих водах. А красные звоны по праздникам оглашали, конечно, не только маленький город, но и дальние села, деревни всего Заречья...

В глубине своей роща была по-лесному прохладна. Птицы насвистывали на все голоса.

Узкая тропка вывела к берегу. Максиму открылось строение из красного камня в три этажа. У подъезда на лавке, под черной березой, сидел внушительно важный старик, совершенно белоголовый, и лениво обмахивался газетой. Максим посчитал старика за служителя этой гостиницы, поздоровался с ним и подумал, что не мешало б запомнить картину: белый старик у черноствольной березы...

Устроили быстро и даже в отдельный номер, чего уж Максим никак не мог ожидать. После душевной дороги манило к реке. Он вышел на берег.

Какой неоглядный простор лежал перед ним! Скалы нависли над светлыми водами, а вдаль, к горизонту, уходили стадами сопки с нежно-зелеными склонами, с глубокими, сизыми тенями у подножий. Вспомнилось вдруг: Чехов был очарован однажды увиденным здесь. Но Чехова покорила и степь, когда он понял ее красоту. Степь звала и ждала своего певца. И дождалась... А эта земля? И этой на долю выпало счастье. Вот тут, где-то в здешних пределах, родился и вырос поэт, современник Максима. Он рано ушел из жизни, но остались его стихи. Максим их многие помнил...

Край далекий, с лесами да сопками,
С поздней жалобой птиц — это ты
Разбудил голосами высокими
Сыновей золотые мечты.

Эти строки Петра Комарова всегда волновали Максима. Теперь же воочию «край далекий» лежал перед ним. То, что он видел сейчас, пока еще не было близким ему до боли. Но он уже чувствовал: и эта река с волшебными прекрасными берегами, и эти зеленые взлобки с мягко пологими склонами — все, что открылось сейчас и множество раз предстанет перед глазами потом, и для него будет близким, родным. В нем созревало и крепло то совершенно необходимое чувство, без которого невозможно прижиться человеку на новом месте...

За день жара накалила прибрежные камни, и прохлада могучей реки была лишь едва уловима. Высокое солнце, казалось, выжгло все голубое и синее, отчего небо, подавленное пепельными тонами, утратило много в своей глубине и безмерности. Зато уж воды сверкали в лучах глянцевой гладью, сливаясь вдаль с зыбкой бледностью горизонта.

По горячим уступам скалы Максим спустился к реке и в тишине одиноко, как хотела того душа, расположился на мелком галечнике. Разделся, вошел с осторожностью в воду... Река приняла его с радостью в теплые струи. И долго, с негой, он плавал, сопротивляясь течению, пока не устал.

...Теперь можно было считать, что журналист Сараев как бы принял крещение и водворился надолго в нешумном городе Славске...

Вернувшись в гостиницу после купания, он вынул из чемодана тетрадь, чтобы внести туда впечатления от дальней дороги, от первых часов пребывания на этой земле. Последняя запись в его дневниках относилась к недельной давности и касалась Соломина, кандидата-философа, приятеля Максима.

Сараеву с жадностью захотелось перечитать...

2

Из дневников...

«Сергей Никодимыч Соломин опять уверяет меня, что желает блага и только блага. Согласен, ведь эти слова он не раз подкреплял делами...

Когда я поступал в университет, Соломин был уже кандидатом. Нелегким путем, говорят, добился он места на кафедре в год окончания учебы и лет через шесть доказал, что может тягаться с другими в уме и способностях делать карьеру. Студенты любили его за мягкость и кротость характера, потихоньку над ним посмеивались. Был Сергей Никодимыч не по возрасту грузен и рыхл... Красные влажные губы... Пухлые, вечно стыдливо алевшие щеки... Волнистые светлые волосы... Узнать его было нетрудно даже за двести шагов.

Женился он поздно и очень несчастливо: жена убежала вскоре с каким-то смазливим кавказцем. Соломин жену не искал. Она сама дала знать о себе, когда ей потребовался развод...

На одном из зачетов Соломин спросил у меня, откуда я родом. Я ответил, и он просиял, как полный умытый месяц. Оказалось, Сергей Никодимыч тоже был выходцем с севера, из тех же дремучих лесов и болот, что и я. Неудивительно, что после того мы сблизились, стали встречать-

ся. К пятому курсу были на «ты» и много раз сживали за праздничными и непраздничными столами. Я дорожил этой дружбой и долгое время шел чуть ли не по пятам своего учителя. Но после все реже и реже стал принимать суждения Соломина за чистое золото. И вовсе не потому, что Сергей Никодимыч внушал мне нечто дурное.

Давно уже чувствовал я сильную тягу к слову и с первого курса начал печататься.

«У тебя два пути, — сказал однажды Соломин. — Первый, не лучший, это наша многотиражка. Второй, наиболее зрелый, аспирантура».

«Есть третий, Сергей Никодимыч, — улыбался ему я в ответ, — уехать в детдом воспитателем. Благородно, по совести... Откуда вышел, кому всем обязан — туда и вернуться. Мой старый директор Пал Палыч Иглицын давно меня ждет. Но я огорчу его: в Усть-Чижапке, на Васюгане, меня не дождутся. Решил укатить в далекие земли. Так надо, я чувствую... Испытаю себя на стороне, уйду там работать в газету».

Соломин на это злился, но злиться он не умел. Сергей Никодимыч, может быть, даже не верил, что я поступлю не по его желанию. Но однажды, перед самой защитой диплома, я показал ему вызов. Соломин стал красный весь до белой манишки.

...И вот я уже на вокзале. Сергей Никодимыч пришел меня проводить. Сели в буфете, чтоб закусить на скорую руку. До отправления поезда оставалось не так уж много.

«Меняешь старинный Томск на какой-то богом забытый Славск? Не понимаю... Оставить родную землю, друзей...». — Соломин с грустью качал большой головой.

Я говорил: «На чужой сквознячок захотелось... Силы свои испытать... Натосковаться вдали по Сибири... Со стороны пережитое оглядеть. Потому-то и уезжаю, вот...».

Чуть выпуклые, неяркой голубизны глаза его заблестели. Я отвернулся. Чувствую, как глубоко огорчаю его, но изменить ничего невозможно...

«Не поминай лихом, Сергей Никодимыч, вроде бы не за что... Приеду, устроюсь и сразу тебе напишу».

«Да уж напиши, напиши, упрямым чалдон, — веселее заговорил Соломин. — Забил ты гвоздь себе в голову с этим Славском... Поезжай, посмотри. Наскучит — вернешься! Примем...».

«Спасибо...».

«Нет, черт побери! — вскричал он почти. — Я не из тех, кто считает, будто у них истины лежат в жилетном кармане. Но я на тебя всегда готов был ставить, как ставят на хорошую лошадь на скачках. Ты бы мог лет через пять стать ученым. Пошел бы ломиться в науку, как лось сквозь чащу!».

«В науку, Сергей Никодимыч, лучше не силой ломиться, а головой», — спокойно заметил я.

«Да что говорить! Где мне тебя убедить, удержать, если милая Аннушка не сумела».

Этого я ожидал и все же смутился. Бросило в холод, из холода в жар...

Анна Захаровна Лагина (Аннушка) приходилась Соломину дальней родственницей. Жила она в Зоркальцеве, в деревеньке под кедрами неподалеку от Томска, учительствовала. Соломин нас познакомил однажды зимой. Она мне понравилась, что говорить! И родители Аннушки тоже пришлись по нраву. Я стал потом наезжать к ним часто. Упивался видом дороги, сугробами синими, кедрами. Мы с Аннушкой были ровесники, но она раньше меня поступила учиться, раньше окончила институт. Все у нее шло на лад, а этим вот летом, последним, обстоятельства так помешали нам в жизни, что пока лучше не вспоминать...

«Время рассудит, Сергей Никодимыч», — ответил ему я чужим, сдавленным голосом.

...И тут объявили посадку. Как я был рад! Поезд медленно тронулся в дальний свой путь.

«Не забывай — пиши!» — в последний раз крикнул Сергей Никодимыч.

«Напишу... напишу... напишу», — отозвались за меня вагоны».

* * *

Вспомнив картину прощания, Сараев решил завтра же сесть за письмо Соломину.

«А что я ему напишу? — возразил он себе. — Пока и писать-то не о чем. Вот дали бы угол отдельный... Поставил бы столик, кровать, две табуретки, полки под книги. И чтобы была тишина... Время пришло кое над чем поразмыслить... Но вряд ли так сразу — квартиру! Город, как мне говорили, почти не строится...».

Захотелось скорее пойти и все оглядеть самому. День был воскресный, в редакцию — завтра... Покончив с записями, Сараев отправился в город.

В широких, как деревенские, улицах было немало однообразия. Почти у каждого дома — огромные огороды, в подворотнях лежат собаки, на знойных лужайках роются куры и бродят козы без привязи. Под окнами — георгины высотой с подсолнух. Своим господским величием они подавляли другие цветы.

Незаметно Максим пришел на базар. Овощные ряды, мелкие магазинчики, лавки, лавчонки облепили широкую площадь. Столы под навесом уставлены сплошь малиново-алыми, красными, желтыми помидорами, огурцами, арбузами, дынями. Почти все здесь было свое, не привозное.

По обилию овощей Сараев рассудил о щедрости здешней земли. Из прочитанных накануне отъезда книг и живых разговоров в вагоне он уже знал, что на юге тут можно возделывать рис, выращивать вишни и сливы. Пшеницы сеют немного, а зато соя — госпожа на полях.

Соя его привела в изумление. И шоколад из нее, и масло, и ткани, и блюда различные. Из сои же получают резину, волокна какого-то чудного свойства и будто бы даже — слоновую кость. Насчет последнего Максим не то чтобы сомневался, но просто считал, что подлинную слоновую кость ничем заменить невозможно, как невозможно искусственно сделать золото... И все-таки было в сое что-то могучее, экзотическое...

Стакан жареных бобов сои он купил у торговли, съел с удовольствием и почувствовал сытость...

От базара Сараев последовал к центру и увидел там несколько зданий прекрасной старинной архитектуры. Из сведений же, почерпнутых им о городе Славске ранее, он помнил, что самые лучшие здания здесь — это бывшие магазины двух могущественных когда-то торговых компаний Чурина и Кунста-Альберса — под цинком, с бронзово-золочеными шишками наподобие богатырских шлемов, с чугунными статуями.

Два института и две средних школы из девяти разместились тоже в кирпичных высоких строениях. Прежде тут были реальные училища и гимназии.

В истории столетнего Славска наблюдался свой взлет, и пришелся он на конец минувшего века, когда по северным рекам открыли богатые россыпи золота. Жизнь взбурлила водоворотом, нахлынули отовсюду старатели и просто ловцы легкой добычи. В довольно короткое время хищники перекопали и перемыли фартовые золотые пески. Приисковый разгул, полный диких страстей, постепенно затих...

Духота дня стала смиряться вечерней прохладой, когда Сараев забрел на другую окраину. Улица Безымянная упиралась одним концом своим в сопку, поросшую низкорослым дубком, вереском и орешником. Но почему-то именно здесь, на Безымянной, было всего многолюднее. Толпы людей спешили к дому, сильно похожему на барак, какие нередко можно еще увидеть и по сей день на полустанках и маленьких станциях. Называют обычно эти бараки казармами. Странно, однако, что такая казарма стояла на Безымянной: поблизости тут не было видно даже заброшенного тупика.

Люд подходил к казарме и дальше не двигался. В ограде стоял грузовик, и Максиму подумалось, что грузовик на кого-то наехал, а улица хлынула поглазеть... И здесь Сараев услышал, что говорят о похоронах...

«Не сюда ли спешил Чуфистов? — кольнула догадка. — Забавный он мужичок! Приклеить бородку, и будет гномик... Спешил попасть на поминки... На поминки вообще любят ходить блаженные».

Явилось желание уйти поскорее отсюда (Сараев не выносил похоронные шествия), но что-то удерживало. Приглядевшись, он усмотрел на лицах потешные, вовсе не траурные выражения. Да и толкались в толпе, перемигивались особенно как-то, весело. Послышался говор, летучий, нажимистый.

— Жил не человек и помер не покойник.

— Учудили — беда! Обойди всю Россию — такого не сыщешь.

— Родимый сынок виноват...

— Да он-то при чем? Шофер, говорят...

— Так, так, о покойнике худа не молви, а то пригрезится.

— Тогда хватай его за ноги, чтобы потом не бояться!

— Вон он — из гроба глядит, другого высматривает.

— Не тот, бают, будто бы переврали...

— А денег-то сколько покойник оставил — слышали? Семьдесят тыщ!

— Сын отказался от денег отца.

— Дурак! Ссора при жизни ссорой, а смерть — она всему подводит черту...

Какие-то двое настырно вскарабкались в кузов машины и заглянули в гроб.

— Думал, вранье, а точно! — крикнул один, соскакивая. — Не тот. Обмишулились!

Наступила та звонкая, много в себя вмещающая тишина, когда можно услышать одно лишь биение своего сердца. Максим услышал это биение и приглушенно вздохнул.

Из ближней двери казармы выступил средних лет человек, худощавый, жидковолосый, блондин, и сразу выделился среди остальных траурно-черным костюмом.

«Погонышев-младший!» — без колебаний решил Сараев и уж более не спускал с него глаз.

Погонышев что-то сердито, отрывисто стал говорить тучному человеку в светлой, сдвинутой набок кепке. Тот выслушивал с глупым видом и нервно дергал плечом. Наконец, белая кепка махнула руками, вскочила в кабину, включила мотор и, газанув со зла, а может, всего лишь от нужной поспешности, погнала грузовик по улице, оставляя за собой облако пыли, переполошенных кур и стаю с лаем бегущих собак.

А гроб погромыхивал в кузове неприколоченной крышкой.

Толпа вздохнула:

— Ах, коли чужой, так можно гнать сломя голову!

— Раньше в Уфе так возили покойников — вскачь...

Сараев стоял в недоумении, растерянности. У кого бы спросить? Не успел оглянуться, как кто-то взял его за рукав и выдохнул в самое ухо:

— Дитятко, почем тут сотня гребешков?

На Сараева лучезарно глядел Иван Фомич Чуфистов, благоухая вином, рыбной слизью и табаком. Человек некурящий, Сараев без труда различил все эти запахи.

— Вы?! — с чувством воскликнул Максим. — Как это кстати... Я вот попал сюда совершенно случайно... и убейте меня, если я что-нибудь понимаю в происходящем.

— А нечего тут понимать. — Чуфистов вынул спички, чиркнул и закурил. — Покойник прожил в этой казарме немало лет, должно быть, она ему надоела изрядно, и он отказался приехать сюда напослед.

— Отказался? Как вас понять? Покойник, этот Погонышев, причислен к лику святых и вознесся на небо душой и телом?

— А вы шутник! — воззрился на Максима Чуфистов.

— Не до шуток... Вы заметили, как пролетела машина? Меня поразило это.

— Оно и меня поразило, меня, Чуфистова, пораженного из пораженных. — Он засмеялся нервически, прикрывая ладошкой рот. — Да-а, попади в былые-то годы такой эпизод светлой памяти Гиляровскому, тот бы так расписал, что хохотала бы вся Россия! «Скачущие катафалки», а? Чем не шапка для хроники! Чем не сатира!.. — Он задохнулся, закашлялся дымом. — Вы представляете? Покойников перепутали!

Максим притаил дыхание. Иван Фомич наслаждался его удивленным видом.

— Ну, то-то же, брат! Вы не смеетесь? Ну и не смейтесь. А город сегодня же рот до ушей распялит. И нельзя запретить. Невозможно! Да было бы, знаете, странно, если бы вдруг не смеялись. Смех — здоровье общества.

Чуфистов умолк и выпустил вздох, похожий на всхлип. Выражение лица его было изменчивым.

— Мне только жаль, — продолжал он затем, — молодого Погоньшева. Зло подыграла ему судьба! Видите, он сам за покойным отцом не поехал, а шофера послал из редакции. Дал ему денег, ботинки, костюм. Покойника в морге обмыли, одели... и вот сюда привезли. А оказался — не тот! Отдали чужого, по годам с этим схожего. А сам-то почтенный швейцар ресторана голый остался лежать на цементном полу!.. Вам не холодно? А меня аж знобит, как представлю себе... Эх, жизнь человечья: пшик — и сгорела!

Чуфистов сдернул с себя соломенную, без полей, шляпу и с легкой, игривой досадой хлопнул ею об землю.

— Так и надо ему! Срамно жил, срамно и помер. Срамно вот и хоронят.

— Как же он помер? Чуфистов хихикнул и сморщился:

— Как Рафаэль...

— Какой блестящий конец! В преклонных летах и... так обожать нежный пол!

— Не всякие умирают, как Рафаэль. И не всякие Рафаэли, кто так умирает...

Чуфистов задумался.

— А знаете что? Без нас разберутся и переоденут покойников. Без нас похоронят, помянут. Плюнем на это дело! Погоньшев-старший был человеком страстей. Он обожал чаевые, бифштексы из ресторана задаром, вино и женщин. — Иван Фомич с трепетом взял Максима за локоть. — Вино я тоже люблю, только не даром, а в долг... Хотите портвейна в ближайшем ларьке? У меня там знакомая — даст на разлив...

— С удовольствием угощу, — понял его Максим.

— Сегодня мне больше стакана не надо. — Он вдруг опять рассмеялся. — Какая, скажите, несправедливость! У швейцара Погоньшева совсем износились зубы, и он недавно новые вставил, из золота. Вставил и помер! Бифштексов ладом поесть не успел...

3

Ларек оказался близко и был совершенно пустой. За прилавком стояла полная женщина в тех самых летах, о которых лучше умалчивать.

Иван Фомич помахал ей игриво рукой и просиял всеми морщинами.

— Два яблока, Машенька, и сладенького бутылку!

— А горького, сударь, не надо? — подмигнула она.

— По такой-то жаре? Закашляемся...

Максиму не по нутру были сладкие вина. Себе он налил полстакана, Чуфистову — полный.

Иван Фомич пил с каким-то особым «почерком»: цедил небольшие глотками, прицокивал языком.

Сараева занимала личность Чуфистова. Занят ли он чем серьезным или ему только и дела, что ловить ротанов-головешек, похожих больше на жаб, чем на рыбу, деликатно выпрашивать деньги, дуть вино и рассуждать о бренности жизни? И кто он вообще? Отставший от быстро бегущего времени, опустившийся интеллигент? Как бы там ни было, сомнений не вызывало одно: Чуфистов принадлежал к тем неудачникам, к тем незлобивым людям, кто шуткой и смехом готов отмахнуться от всех невзгод и печалей. Таких хоть плугом перепаши, а они всё будут жить и смеяться.

— Вот кто я ему? — вопрошал ублаженный Чуфистов, положив на плечо Сараева сухую легкую руку. — Первый встречный на улице! А как он со мной поступил? Червонец дал! В займы, займы... Мне чужого не надо! Чуфистов отдаст... А ты его тоже помни и чти, голубка.

Максим плохо переносил подобные шутки: он покраснел и нахмурился.

А женщина рассыпалась в притворном смехе.

— Голубь ты мой, Фомич, — сквозь смех говорила она. — Все жениха подыскать мне сулишься... И водишь, грех осудить... Водишь пригожих, да молодых. Неподходящие!

— Дитятко, будут! Найду подходящего — в хромовых сапогах со скрипом. Поверь душе! Кто и соврет, а Чуфистов — по правде. Спасибо тебе — кланяюсь! Портвейн — слов не найду. Ароматы долин Абхазии... Прибереги бутылочку для другого счастливого раза.

Наконец-то они очутились на улице... Здесь было все так же удушливо жарко, хотя приближение вечера заметно ослабило зной. С сопки воздушным течением приносило сюда запахи изомлевшей за день травы. Воздух стал будто еще тяжелее и гуще. Небо по-прежнему было бесцветное, низкое, без облаков. Перемены погоды к дождю не предвиделось.

Чуфистов совсем неожиданно заговорил о климате здешней земли, Речь его была прыгающей и захлебистой.

— По количеству солнечных дней в году Славск стоит на втором месте после благословенного Крыма. Но нынче жара тут особенная. Сказалась опять близость пустыни Гоби... Вы там не бывали? Я тоже, представьте... Известно, что зной на земле и холод там, в стратосфере, приводят к явлениям весьма нежелательным. Столкновение горячих и ледяных потоков в воздушном мировом океане рождает циклоны... Я вам напомнил это к тому, чтобы сказать, что у нас был год, когда вот на эти места, где мы с вами идем, обрушился град невиданный. Куски белого льда достигали величины кулака Ивана Поддубного...

Максим рассмеялся невольно.

— Никакой фантазии, зря вы... Об этом писали газеты Москвы и Славска.

— Я не о том... У вас неожиданно так получилось сравнение.

— Привыкайте. Неожиданные сравнения — мой козырь в беседах с приятными собеседниками.

— Спасибо...

— Итак, о жаре. В такую жару, как у нас, только и пробавляться хорошим портвейном.

— По мне, лучше пиво. Холодное! С воблой или с обским жировым ельцом...

— От пива меня избавьте. С него пот проливаешь, будто Микула Се-лянинович за сохой, а сам пальцем не шевелишь. Я портвейнщик! И город об этом знает... Погонышев — тот, молодой, которого вы сегодня видели в трауре, не раз пускал в меня стрелы сатиры.

— Да он многогранный у вас! Фельетоны, вы говорите, стихи?

— Писал и стихи, но теперь перешел исключительно на колючую прозу. Он и себя не щадит. Вот полюбуйтесть:

Я теперь пишу о розе,
Только не в стихах, а в прозе.
Ну, а если не получится,
Я и в прозе брошу мучиться.

— Самокритично, не правда ли?

— А как он о вас писал? Что-нибудь помните?

— Век не забуду!

Портвейнщик, коим равных нет,
И критик, и почти писатель!

— Но я на него не в обиде. Талант, а на таланты губы не дуют.

— Так, значит, — вы тоже служите музе? — спросил удивленно Максим, останавливаясь.

— Муза служит поэтам, а я подвигаюсь в прозе... «Легенды Чукотки»... «Степная тишь»... «Сабля самурая»... Это все я написал.

Сараев мучительно думал, не попадались ли ему книги с такими названиями?

Не попадались!

— Ничего не читал, — признал он свое невежество.

— И никогда не прочтете! — с жаром уверил его Чуфистов, утирая с лица пот рукавом. — Рукописи... Я их храню у себя...

Он повернулся к Максиму; единственный глаз его остро и сухо глядел на Сараева.

— По совести только скажите... Вы к нам зачем?

— Буду работать в газете...

— Мать ты моя — журналист! — Чуфистов зачем-то потрогал кадык. — К Улыбину, значит, к Юрию Юрьевичу...

— Выходит, к нему. Подпись его на вызове очень разборчива... Давно он здесь главным редактором?

— Боюсь соврать, но где-то лет десять...

С Чуфистовым что-то стало происходить. Он совал руки в карманы широких, до помрачения ума расклешенных брюк, запинался на ровном месте, вертел головой с выражением того испуга, когда человеку становится страшно чего-то, а чего — он и сам не поймет.

Но это с ним длилось недолго. Иван Фомич снова повеселел, умерил шаги... Однако нетрудно было заметить, что его состояние внезапного возбуждения совсем не исчезло. Говорил он еще отрывистой, резче и часто дышал.

— Улыбин вам будет рад... Рысак и рабочая кляча — понятия разные. Но я-то не сдамся. Я-то еще докажу! Хотите вы знать все обо мне? Так слушайте, слушайте... Я написал еще «Сны». Это роман. Его обсуждали в... каком-то году, не помню. Тогда приезжал маститый один из Москвы. Кто — тоже не помню. Говорил, что с Менделеевым раз по ручке здоровался и видел однажды вблизи графа Толстого. Граф будто мимо верхом на коне проезжал, а маститый писатель, то есть наш гость, был тогда маленький, но графа Толстого он уже знал. И то — прозорливый, рано смекал, что к чему. Увидел, узнал и побежал за графским конем. Кричит оглашенно: «Дедушка Толстой! Дедушка Толстой!». Граф, известно, был добрый. Остановился и мальчику дал конфетку... И что бы вы думали? Мальчик конфетку съел, а бумажку оставил. И это его потом осенило на подвиги в литературе. О конфетной бумажке он написал полтома воспоминаний...

Дыхание Чуфистова сбилось совсем, он умолк и с минуту молчал. Затем его снова кинуло в словесный поток.

— Маститый читал мои «Сны» и хвалил мое свиное сало домашней засолки. Я тогда был не такой: жил в собственном доме и со своей женой. Теперь у меня и дом, и жена чужие. Поверил поэту, дурак, что «Любви все возрасты покорны»... С одной стороны, это так, а с другой... Любви-то покорны все возрасты, да любовь не всегда покоряется возрастам! Важное обстоятельство. Имейте его в виду, когда вздумаете жениться вторично или третично при совершенно критическом возрасте. Тогда я еще не успел понять простой сей истины. Да-а, встретил одну чародейку с наколкой на ручке, ударил копытом и рассупонился, точно изъезженный конь. Телега осталась, а сбруя, хомут — на мне. Не-ет, куда лучше жить мерином! Я даже так себе после сказал: живи мерином и то умеренно...

Он дал себе передышку и продолжал:

— Ну, съел тот маститый писатель все мое сало, а через день, натошак, разобрал «Сны»... Не похвалил за сюжет... Вы не читали «Хромого беса»? Так я эту старую форму насытил своим содержанием... Удивлены?

— Отчасти... Сюжет этот дважды уже использовался — скромно заметил Сараев. — Первоначально — испанцем Геварой, другой раз — французом Лесажем.

Чуфистов остановился, долго смотрел на Максима, усмехнулся на левую щеку, иначе сказать — скосоротился, и пошагал дальше ломким, вихлявым шагом.

— И что же, — сказал он помедля, — Чуфистов был третий. Третий и самый оригинальный из двух именованных авторов. Я обошелся не хуже испанца и лучше француза: я изгнал из сюжета черта!

— Как это вам удалось?

— В соответствии с духом времени: мой герой передвигается по чердакам и крышам домов на вертолете...

— Действительно, оригинально, — отвернулся Сараев, чтобы утаить улыбку.

— Да что из этого! После «Снов» теперь я только и знаю что бодрствовать. Сплошная реальность, и никакого тебе волшебства! Страдания пошли косяками. И больше всего — по моральной статье.

Он опять помолчал.

— До прошлого года я ведь тоже в газете работал. Раз выпил с поллучки и ночью в глубокую яму упал. В том месте котлован под фундамент рыли — от редакции через дорогу... Ухнул, карабкаюсь... Ногти на пальцах сорвал. Холодно, осень, земля запекаться стала... Крикнул, на помощь позвал... Услышал шаги — над головой у меня остановились. Вижу в сумраке — руку мне тянут. И я потянул — с радостью, с плачем! Сильно подняли, поставили. Охлопался я, землю с коленок отряс, спичку зажег — хочу посмотреть, кто же спаситель мой... Огонек засветился, глянул... Пропасть мне на месте! Стоит во весь рост наш редактор Улыбин, качает большой годовой. «Так, так, завтра приказ — уволю». Господи, нету тебя, а вспомнишь! Остолбенел, не качаюсь... Я неунывный, заметили? Говорю: «Неблагодарно — спасти, а потом утопить! Лучше столкните опять меня в яму...». И знаете вот — заплакал! До нутра проняла слеза покаяния... Юрий Юрьевич сжалился, хоть бы слово об этом кому... Уж я ему был благодарен! Уж я старался работать! Из командировок не вылезал и по праздникам даже не пил. Да раз вот в степи карьеру свою и кончил...

Маленький подбородок Чуфистова вздрагивал, голова поникла, а шляпа сползла на мокрый морщинистый лоб. Он долго не продолжал разговора...

— Пурга началась... вон там, за рекой, — показал он движением руки. — Я ехал на бортовой машине попутчиком. Машина заглохла, и шофер послал меня рукояткой мотор покрутить. Я начал крутить, и получилось такое явление, которое называется «обратное зажигание». Ударило и рукояткой мне выбило глаз... Видите — вытек... Желтое пятнышко... Было еще у меня сотрясение мозга. Пенсионер! Летом сижу на рыбалке, зимой, признаюсь, пописываю... для тренировки ума. Думаю, если мозги повернуло, так надо на место их ставить... Плохо выходит — утомляемость быстрая... Один вот портвейн дает просветление памяти...

— Выходит, Погоньшев-младший зря писал колючие строки на вас?

— Да вы не подумайте... Я на него не в обиде! Любит меня, потому и смеется... А нынче — смотрите! — и сам на смешок налетел, с покойником батюшкой-то...

— Не смейся чужой беде, своя, говорят, на гряде, — улыбнулся Сараев.

Чуфистов, повеселев, распрощался и скоро исчез за углом ближнего дома.

4

Утром Сараев встретил зарю и восход у реки и снова купался. Бодрый, напитанный солнцем, пришел он в редакцию.

Массивная черная дверь в редакторский кабинет была приоткрыта, и в приемную доносился чистой воды баритон.

Молоденькая секретарша у батареи за маленьким столиком откровенно прислушивалась к разговору за дверью и на приветствие Сараева не ответила.

— Здравствуйте, — повторил он погромче. — Сараев Максим Егорович... Приехал из Томска по вызову. Редактор ваш должен знать...

— Меня зовут Симой... Садитесь. Юрий Юрьевич занят сейчас.

— С вашего позволения тогда я полистаю подшивки газет...

Из кабинета отчетливо доносилось:

— Где откопали вы эту поговорку: «При соевом зерне быстрее сало растет на свинье?». Сознайтесь, Акулов, вы сами ее придумали?.. Ну так же нельзя, Акулов! Это плохо, безбожно плохо... Вам дали месяц на испытание, пять раз посылали в командировки, а вы так и не порадовали ничем газету... Поезжайте в село и работайте честно по специальности.

Баритон на этом умолк. К двери приближались тяжелые кованые шаги. Сараев ожидал увидеть горемыку с багровым, как в лихорадке, лицом, с мокрыми всклокоченными волосами. Но, к удивлению, из кабинета торжественно вывалился смуглый отглаженный здоровяк и вопреки стал перед Симой.

— Я слушала все, — тихо, уныло сказала она. — С Лялькой твоей будет плохо. Ей говорили: ты не спеши, подожди. Нет, она уже всем развонила, что муж ее принят в редакцию и что вы теперь из города никуда... Бедный Эдик!

— И так никуда! Подумаешь... Меня хоть завтра в автоинспекцию примут. Два года у них был я нештатником. Задержания имею...

— Докладывать будете, или я так? — улыбнулся Максим.

— Входите. — Сима нахмурилась.

— Кто? — спросил беззастенчиво Эдик.

Сима помедлила, дожидаясь, пока Сараев не прихлопнет за собой дверь. А когда тот прихлопнул, сказала:

— Тоже искатель какой-то... вроде тебя...

Редактор разговаривал с кем-то по телефону. Сараев все это время с интересом рассматривал карту славской земли. Было много равнин, крупных озер, извилистых рек и гор. Очертанием своим Славская область напоминала кленовый лист.

— Итак, с чем, зачем и к кому? — обратился редактор к Сараеву. Максим представился, слегка поклонившись.

— О, так это прекрасно! — другим тоном заговорил Улыбин. — Вы присылали свои публикации, и я их читал. Представление о вашем переводе имею...

— Буду стараться честно служить, — кивнул Сараев.

— Иного не мыслю! Наша служба — паши, да сей, да урожай собирай. Понимайте меня хоть в переносном, хоть в прямом смысле. Нужны нам люди способные, безотказные.

— Понимаю. Что до меня, то я готов даже на Северный полюс.

— Похвально, похвально, Максим Егорыч... А то вот был у меня один перед вами... Да, вы его встретили? С виду — орел, силища! А к слову — никакого чутья. Из хаоса впечатлений не может выделить главного... Зоотехник, окончил наш институт в этом году. Там его не учили,

конечно, газетные строки писать. А врожденного дара нет. Но он или этого не понимает, или... Знаете, просится, ломится в редакционные двери!

— Похоже, у него коровобоязнь.

— Ха-ха-ха! — потряс прокуренный воздухом Улыбин. — Метко. В сатиру просится. Пишете что-нибудь этакое?

— Пытаюсь, но больше всего для себя.

— Как для себя?

— А впрок... больше тренировки. — Сараев потер ладони. — Сатиру надо писать, Юрий Юрьевич, или большую, серьезную, или вообще не писать никакой.

— А по-вашему что, газетный фельетон — маленькая сатира?

— У большого мастера — большая, у маленького — маленькая...

— Понимаю. Вы хотите сказать, что ваша стихия — очерк? Удачи бы вам на этом пути! А сатирик у нас свой есть, доморощенный. Вот кому удаются гротеск, гипербола...

Юрий Юрьевич Улыбин был на вид полнокровный, грузный мужчина чуть более средних лет, с крупной, правильно вылепленной головой. И все у него было крупное, полное: губы, внушительный нос, большие глаза навывкате и с синевой. Он любил резкие жесты, мимику, в разговоре следил, как показалось Максиму, за тональностью голоса, что, в общем, делало Улыбина немного рисованным, артистичным. Когда он поткровенничал, что безумно ценит театр, что в Москве (бывая там часто) тратит свободное время на посещение спектаклей, что основное чтение его — драма (Ибсен, Шоу, Шекспир), что сам он пьесы пописывает, — когда Улыбин все это сказал, Сараев понял, откуда идут и поставленный голос, и жест, и мимика.

— Трудно работать в искусстве. — Юрий Юрьевич взялся за папиросы. — Много завистников. Вечная тема Моцарта и Сальери...

Улыбин курил «Беломор», затыкая в мундштук папиросы ватные шарики.

Известно, что табак благотворно влияет на нервы. Нега, истома, покой так и стремятся во время курения по жилам. Минута прекрасная! И Сараев, подумав, решился спросить.

— Как будет дело с квартирой? Мне бы хотелось иметь свой угол...

— С квартирой? — Улыбин зачем-то взглянул на часы. — Минутку... «Неужели возможно? — Сердце стучало полнее и чаще. — Нет, я не в рубашке родился. Так крупно мне никогда не везло».

Редактор поднялся, вышел из-за стола и направился к двери, клубя за собой слоями залегший дым.

— Позовите Гаврилу Васильича, Сима, — сказал он в приоткрытую дверь.

Вернулся на свое место и сел, красивым движением руки проведя по лицу. Усталость, печаль, задумчивость легли на черты его. В траурно окрашенной тишине слышно было биение часов на руке.

— Считайте, что вы уже поселились у нас на Безымянной улице, — проговорил он торжественно.

— На Безымянной?

— Да, есть там у нас комнатуха в доме-казарме. Пять или шесть

квадратов. Семейных туда не поселишь, а холостяку как-нибудь перебиться можно. Давно нам отдали эту квартирку... Жил там сначала один наш сотрудник — Погонышев, потом он отцу ее передал. Недавно отец его умер... Так что вот так. Хотите — пожалуйста, можете занимать. Советую, в общем, Максим Егорыч...

Дверь открылась уверенно, и так же уверенно вошел в кабинет человек. — Звал? — спросил он по-свойски.

— Давай проходи... Знакомьтесь: Гаврила Васильич Погонышев, Эзоп города Славска... Максим Егорыч Сараев из Томска.

Максим почти не слышал последних слов Юрия Юрьевича. Пожилая узкую, холодную руку Погонышева, он вспоминал, что говорил о фельетонисте Чуфистов.

Эзоп города Славска являл собой вид болезненно желтый, худой, наделенный тем недостатком фигуры, скрыть который невозможно даже под самым изящно сшитым костюмом. Если сильной рукой взять тщедушного человека за шиворот, приподнять и поставить, не дав ему времени отряхнуться, то выйдет нечто пригорбленное, взъерошенное, достойное больше сочувствия, нежели смеха.

Во внешности Гаврилы Васильича таилось действительно что-то ущербное. Но уродство совсем не коснулось его лица, так же, наверно, как не коснулось натуры, ума и характера.

Лицо у него не было ни волевым, ни мужественным, но оно не было также и слабovolьным, растерянным, скучным. На этом лице, как бы раз и навечно, запечатлелись сомнения, ирония, скрытность, суровость и все остальное — неуловимое, что таит в себе всякое человеческое лицо.

Максим, наблюдая Погонышева в ту краткую паузу, пока тот шагнул от двери к редакторскому столу, и после, когда их познакомили, сделал вывод: «Характер скрытный, ум иронический, что особенно видно по бледным, тонким губам, готовым в любую минуту скривиться в холодной улыбке, по серым полуприкрытым глазам, привыкшим не просто смотреть, но прощупывать».

Да, это бы природный сатирик.

Он высмеивал, бичевал пороки, а жизнь (вот же злодейка) сама подшутила над ним.

Предчувствуя, что Улыбин может спросить у него о вчерашних похоронах, Погонышев решил отразить неприятный вопрос.

— Впору хоть на себя самого сатиру пиши! Белый свет насмешили с покойником. По пословице точно: «Жил грешно и помер смешно».

— Я слышал, что ты и от денег, от наследства, отказ подал? — вкрадчиво спросил Улыбин.

— Конечно... Зачем мне его наследство? Я человек честной жизни... смею себя считать.

— Но ведь семьдесят тысяч! — воскликнул Улыбин так, что Сима в приемной, наверно, услышала, хотя обе двери были плотно закрыты.

— Нынче — семьдесят, а завтра останется семь... С января ведь реформа. Вот нолик и зачеркнут...

Улыбин в ответ засмеялся беззвучно, с каким-то стиснутым при-

дыханием. Молчали. Погонышев вертел на пальце толстым ключом на зеленом, засаленном ремешке.

— Ношу с собой... Ему передать? — кивнул на Сараева.

— Догадливый ты, Гаврила Васильич, — сказал Улыбин, приподняв левую бровь.

— Есть примета одна, нехорошая, — откинул голову Погонышев. — Ключи на стол — быть ссоре.

— Кому с кем ссориться? У нас с тобой от ссор зубы уже потерялись.

А ему... — Улыбин смерил Максима взглядом, — ему еще рано...

От редактора они вышли вместе. Симы в приемной не было. Максим увидел ее в коридоре: она стояла в обществе Эдуарда Акулова и полной, ярко одетой женщины. Издали, даже в этом неярком свете, был заметен ее румянец.

— Ты, Эдка, дурак. Не спорь! — говорила она повелительно, притопывая каблучком. — Дал бы сперва поправить умному человеку... как я чувствовала, что тебя метлой пометут, а кого-нибудь с ветра примут...

«Это, конечно, Ляля, жена «сочинителя русских пословиц», — подумал Сараев. — Как это глупо, однако, волноваться и спорить о том, о чем не стоит и рта раскрывать. Вот просился бы я в музыканты, а сам даже бить в барабан не умею...».

Максим и Гаврила Васильич приближались. Ляля умолкла, но тут же рассыпалась звучным, наигранным смехом.

— Ах, Симочка, что я тебе скажу! — Ляля глядела в упор на Максима. — Недавно я прочитала болгарский роман «Табак». Неизгладимое впечатление...

Погонышев крякнул, Сараев покашлял. «Черт побери, — подумал Максим, — а я вот не успел прочитать болгарский роман «Табак» и не получил неизгладимого впечатления!»

— Вы хотели взять годовую подшивку газет, — сказал Погонышев, — так можете у меня. Заходите...

— Договорились, Гаврила Васильич. Это я после... Сначала устроиться надо.

— С богом... Давайте. Там пусто и пыльно... Наймите соседку, она вам поможет, побелит. Устраивайтесь...

Погонышев поднял руку.

5

Из дневников...

«С квартирой уладилось все в тот же день. Я снял висячий замок и вошел. Жилого пространства в камерке было совсем немного. Удивительно, как помещался здесь гроб с телом покойного. Вероятно, гроб сюда не вносили, а прямо из морга повезли хоронить. Думать об этом не хочется...

В окно с немытыми узкими стеклами косо падало солнце. В красном луче роились пылинки, вспугнутые моими шагами. С потолка по углам свисали тенета и паутина. Настоящая паутина с затаившимися паучками! Жирная копоть лежала на стенах, на печке, на электрической лам-

почке под потолком. Чуфистов рассказывал, что покойник, кроме вина и котлет, любил еще женщин. Какого же сорта пташки залетали в эту берлогу!

В носу завертело, как от простуды, и я чихнул.

«Будьте здоровы, Максим Егорыч! Вас с новосельем...».

Голос мой прозвучал глухо.

Мыть, белить, выветривать этот зловонный дух! Пожилая соседка сказала, что управится в день. Зовут ее Василиса Васильевна. Любит поговорить, повздыхать, попечалиться. Долго слушал ее терпеливо, потом ушел покупать шторы, гардину, стулья, кровать и стол. Надо бы лампу еще, этажерку, но денег осталось только на прожитье. Подъемные кончились...

Стекла в окне блестят, отмытые изнутри и снаружи. Известь просохла. Стало светло и свежо...

Полулежа, при электричестве, листаю подшивку славской газеты, ищу фельетоны Погонышева. Личность Гаврилы Васильича всерьез занимает меня. За год нашел семь его фельетонов. Читал с интересом и пользой. Бьет по чиновникам, ворам, мошенникам. Я бы сказал, обычная публика, калибром не крупная. А вот попался один необычный, некий Семен Фуфаев, стихотворец и жертва любви...

...Любил он безумно жену, молодую актрису театра. А она у него безумно любила наряды. Фуфаев работал на радио в Славске и тратил все свое вдохновение на заработки. Их не хватало, заработков! Фуфаев оброс долгами, как днище морского судна обрастает ракушками. С отчаяния, что ли, Фуфаев «открыл» существование Джерома К. Джерома и углубился в чтение его причудливых рассказов. Почему-то Фуфаева привлекли «Лайковые перчатки». Он взял их с легкостью, с какой берут у знакомого двадцать копеек на сигареты.

Английский классик своим героям не дал имен, и Фуфаев эту его «оплошность» исправил. Он Лондон переименовал на Славск, лондонские улицы — на славские улицы, а знаменитая Пикадилли-серкус стала площадью Дружбы. Во всем остальном классик остался нетронутым. Под названием «Она» новелла ушла в эфир и вернулась большими рублями из кассы...

(Занятная эта история наводит меня на мысль, что жизнь в городе Славске дает богатую пищу для иронических записей. Там покойников перепутали, тут обокрали английского классика, а если попристальнее приглядываться, то можно увидеть не одни чудеса в решетке. Голый камень и то обрастает мхом. Здесь же — широкая нива.)

Втянулся — читаю. За год в семи номерах — деревенские очерки Райской. Осилит четыре. Жизни и сельских проблем не увидел, зато получил «представление» о том, что зима малоснежная здесь, от мороза поля покрываются трещинами, что птицы поют по весне голосисто (отчего им не петь!), что сопки самые яркие в мае, когда зацветает альпийская роза.

Макеты полос интересные, иллюстрации очень живые. Чувствуется рука фотографа-мастера. Шрифты подбираются тоже искусно и к месту.

Пестрит из номера в номер имя Хахавского. Рецензии его на кино и спектакли легки, как тополевыи пух. Пишет он бойко о важных по-

бедах в труде, о скачках на ипподроме и атмосферных явлениях, вроде грязевых желтых дождей, дождей с креветками, о пыльных бурях и об одной шаровой молнии, что влетела к какой-то старушке в комнату через форточку, а вылетела в трубу. При этом загадочный сгусток энергии вреда никому не принес. (Все это быть могло, но какая же печь была у старушки? Из сообщения не ясно.)

Стихи попадают редко. Цыплячья беспомощность некоего Авенира Медузова и острые, ладные басни Фатей Шмелева. Значит, в Славске еще есть один сатирик? Надо бы с ним познакомиться...

В нюне целую полосу дали столичному Заиграеву. Он здешний, но ныне в Москве. Врезка к стихам — сплошные восторги, а сами стихи убеждают в обратном. Представляет поэта читателям Сиц Гостинцын...

Споткнулся на этом «Сиц». Что за странное имя? Наверно, обычная опечатка...».

* * *

На работе Сараев спросил Улыбина:

— Мне ваш Гостинцын спать не давал. Как его имя?

— Сицилиан, директор издательства.

— Убейте, не мог догадаться... Си-ци-ли-ан!

— Бывает, бывает... Разные есть имена. Я, например, в молодости звал Социалиста Портнягина. — Улыбин скатывал ватный шарик, чтобы заткнуть им мундштук папиросы. — Сицилиан наш щупленький, малого роста, кудрявый, многоречивый и любитель закусывать человечками.

— Он что, циклоп?

— В переносном значении, Максим Егорыч... Вот скушал же он Заиграева. Малый так хорошо начинал, так славно писал баллады, а Гостинцын бил его почем зря, толкал, толкал и дотолкал до халтуры.

— Стихи на вашей газетной странице — плохие. А Гостинцын их хвалит, — пожал плечами Сараев.

— Нахлобучили нам за эту страницу. Я не давал. Я в отпуске был как раз вместе с Погонышевым... Увяла, увяла муза Вадима! В столице он не культуры набрался, а спеси. От былой самобытности, от голоса малого своего уж ничего не осталось... Ну, бог с ним! Устроились как?

— Хорошо. Не ожидал. Спасибо...

— Случай помог. Как говорится, не было бы счастья... В командировку готовы?

— Готов.

— Куда бы хотели? Что ближе душе?

— Пустите в горы меня. Дней на десять... Я житель равнинный, на Оби у нас много лугов, еще больше тайги и болот. Ни сопок, ни гор, только крутые яры попадают... Для контраста хотелось бы в горы, может, к геологам. А потом... куда ни пошлете, туда и поеду.

Улыбин охотно с ним согласился. Пришлось взять аванс, чтобы купить плащ, сапоги...

Письмо Соломину Сараев не написал, откладывал до возвращения. «Охладел? Новизна захлестнула? — спрашивал он себя и как бы корил за

молчание. — Нет, тоска еще к сердцу не подкатила...».

Собирался он в первое новое странствие с легкой душой.

6

Из дневников...

«Полтысячи верст на север от Славска, и уже нет духоты, небо осеннее, хмурое, листва на осинах горит киноварью.

Пробираюсь в верховья большой реки. По берегам — скалы, обрывы, кручи. Таких я еще не видал...

Воды быстры, холодны, темны, пугающи. Речной трамвай везет нас с упрямым упорством.

На перекатах почти незаметно, что мы продвигаемся. Пассажиров набилось изрядно. Лица простые, открытые.

Нет, есть один франтоватый, длинноволосый юнец в черных очках. Закурил сигарету, цедит дымок. Рядом старик-бородач замечает полусердито:

«Сними черноту с глаз-то, не пугай светило!».

Франт повинуется, прячет очки, бросает за борт окурков, встает и скрывается в трюме.

Ветер сердитый, встречный. Солнце ныряет в быстро летящих тучах, как желтый бакен в волнах. И вот уж совсем завывло, занепогодило... Холод и хмарь. Тот же старик-бородач шмыгает носом и говорит:

«Главный бес в аду сдох — отпевают. До переката дойдем и станем.

Дальше не пустит...».

И точно. Длинным тросом зацепились за толстую листовенницу. Она прилепилась к подножию скалы. Должна выдержать. Больше причаливать негде.

С налета, неожиданно упал ливень и всех загнал вниз. Битком: ни сесть, ни прилечь. Маленькая старушка, мышка-полевка, тянет:

«Своя теснота, не берет лихота».

«Тебя не берет, а мне — тошно!» — мотает головой грузный, лохматый мужчина, явно в подпитии. Он повернулся к старушке, дышит ей перегаром в лицо и ласковым голосом просит:

«Бабушка, ты побеседуй со мной».

«Об чем, сударик?».

«Отчего душу тоска грызет?».

«От вина, родненький».

«Верно, бабушка... А меня Лапой зовут».

«Отстань, соколик, угар от тебя...».

«Грубая ты... А Лапа — веселый!».

Так они без конца препирались, пока кромешная тьма не накрыла землю и воду, а людей не сморили усталость и сон...

Утром утихло, туман, нигде ни звезды. Только в зените почти, на чуть заволоченной сини, бледнеет осколок месяца. Он кажется лишним в этот рассветный час.

Солнце мелькнуло в прорыве тумана и тут же исчезло. Клубятся

над пиками гор дымные тучи. Белыми космами, извиваясь, сползают, по склонам и вновь поднимаются в серое, тяжкое небо...

Заморосило опять. Деревья стоят восклицательно длинные. По камням набухают мхи и лишайники. Для них это время жизни...

Отчаливаем.

На мокрой палубе кто-то лежит в зеленом спальном мешке разрезом вниз. Гора вздымается, дышит. Старушка, мышка-полевка, потрогала гору рукой и спросила:

«Матросики, где вы купили такого большого борова?».

«Это не боров! Это топограф Лапа».

Мышка-полевка отдернула руку, губы поджала и осенила себя крестом. Смеются:

«Не бойся, бабуся, уж как наш Лапа уснет, то его только краном поднимешь. Еще можно пером в ноздре покрутить, да он, видишь, голову спрятал в мешок».

До прииска Ягодного хорошего ходу часа полтора...

Соблазнился попасть на разведку слюды-мусковита. В Ягодном управление большой экспедиции. Встретили ласково, но отговаривать стали на слюду не лететь. Почему? Дела там плохие... Начальник разведочной партии Короедов восстановил против себя коллектив. Опять — почему? Заносчив, груб, не болеет за дело... Прихватил в тайгу с собой молодую любовницу, устроил ее каюром, оклад положил. А какой она, к богу, «каюр», если горы видала только в Крыму, а оленей — в кино! Горожанка, из высланных тунейдок.

Конфликтная ситуация. Летят туда разбираться начальник экспедиции Ковалев, полный, веселый, лысый мужчина, и Двоерядкин, профсоюзный бог геологического управления. Двоерядкин среднего роста, с серым, линиялым лицом. У него рыжеватые брови, кустистые, очень подвижные. В отличие от Ковалева, нахмурен и молчалив. Оба опять меня отговаривали, но я настоял. И вот мы втроем в вертолете...

Прилетели. Тайга нехоженная, горы крутые, речка дикая, рыбная. Люд веселый, занозистый, цену себе знает.

Начальство взялось с первого дня за проверку. По профилям ходят, осматривают горные выработки, рабочих спрашивают. Я с ними везде. Интересно.

Все в лютой обиде на Короедова, на любовницу его, — Эмму. Сам Короедов сильный, здоровый и нелюдимый. Ему немногим за сорок. Прекрасно стреляет, рыбачит, строит катамаран в свое удовольствие и не живет нуждами разведочной партии.

Эмма полна, смазлива, но далеко не красавица. Я себе представлял ее более яркой. В глазах синё от обилия туши. Лениво зевает и ходит по лагерю капризным, ломучим шагом. На язык островата. Я бы сказал, неглупа. Понимает, что Короедову туго и что ее беззаботному пребыванию здесь скоро придет конец.

Короедов делает вид, что отстранился от Эммы, а она второй день напропалую заигрывает с Двоерядкиным. Он хмурится, покашливает и не знает, как с ней себя вести.

Подозреваю, что у нее есть какой-то замысел. Ей лет двадцать пять. Двоерядкину раза в два больше. Все объяснилось в ночь перед тем, как быть собранию...

Эмма спала в камералке, где разместились и мы, приезжие. Там у нее было свое постоянное место у стенки на нарах. Рядом поставили раскладную кровать, на ней отдыхал Двоерядкин. Была полночь, глухая, лунная. Разносились посвистывание и храп. По этой причине я пробудился и не мог уж уснуть, потому что храп, да еще многоярусный, на меня нагоняет бессонницу. Но лежал я спокойно, будто в сладком, глубоком сне.

Эмма вздыхала, ворочалась. При слабом свете луны я видел, как ее полная рука выкидывалась из спального мешка, почти касаясь изголовья кровати, на которой потягивался и тоже не спал по понятной причине профсоюзный бог геологического управления Двоерядкин. Эмма явно побуждала его к действиям, но я и подумать не мог, что ход ее будет коварный...

Двоерядкин не вынес мучений, распахнул свой спальный мешок и прислушался к сонному царству уставших за день людей. Сам он не мог устать, потому что весь день накануне никуда с базы не уходил, листал наряды, подшитые стопкой радиogramмы, писал в блокнот — готовил к собранию речь. Эмма была тоже в бараке и, возможно, между ними был обмен любезностями. Двоерядкин подвигался и еще раз накрепко свой слух... Храпели, шумел перекат за стеной... Двоерядкин высвободил из спальника одну ногу, другую, поднялся, шагнул и склонился над Эммой. Отдаленно это напоминало сцену из «Демона», когда злой гений встает над спящей неискушенной Тамарой... Но музыки не было, Двоерядкин не пел, он просто кинулся к Эмме, подгибая колени, обнял, стиснул ее, задыхаясь от запаха и тепла женского тела.

«Боже! Что с вами!» — спросила она удивленно, но с трепетом.

«Эмма... Ваши намеки, вздохи... И Короедов опять сегодня ночует в палатке на берегу... Вы же к нему не пошли? Почему вы к нему не пошли?».

«Какое вам дело... Уйдите!».

«Да тихо... тихо...».

«Мне все равно. Я вас не собираюсь спасать».

«Спасать меня? Что вы такое плетете... Я хочу заступиться...».

Она на него махнула рукой:

«Заступался волк за кобылу...».

От волнения он пошатнулся, его занесло к стене. Послышался какой-то шершавый звук: обнаженным плечом Двоерядкин пробороzdил по бревенчатой стенке.

«Вы поцарапались? Бедный... Сейчас поднимутся люди, и вы пропали. Ложитесь... к себе».

«Эмма... В ваших глазах я видел вчера обещание...»

«Это была уловка. Хотела унизить вас».

«Вам не удастся...»

«Уже удалось! Вы стоите передо мной, как полуголый болван».

«А вы... вы ведь совсем нагая...»

На открытую грудь ее падали тусклые блики луны. Эмма теперь

почти высвободилась из спального мешка и полулегла на подушку. На ней действительно не было ничего. Я не мог оторвать глаз от этой коварной женщины. Она была соблазнительна...

«Что удивительного, если я сплю, в чем мать родила. — Она потянулась, зевая. — Натоплено, душно... Тело должно отдыхать».

Дверь в барак открылась: в проеме стоял Короедов.

«Эмма, ты спишь?» — позвал он ее.

«Не сплю... Не дают».

«Морду ему поцарапай», — сказал Короедов, и дверь захлопнулась. Двоерядкин лежал у себя на постели. Я не заметил, когда он успел. Эмма смеялась журчливо: так, наверно, смеялись няяды.

«Вам плохо, сэр Двоерядкин? — спросила она полным голосом. — В аптечке вон там есть валидол, примите таблетку».

Он поднялся раньше других и ушел охлаждаться в горной реке. Но холодные воды не освежили его. Весь день Двоерядкин немилосердно хмурился, смотрел на свои сапоги. На его чело набегали морщины, как рябь на водную гладь.

Представляю, как удивится сегодня толстяк Ковалев, когда профсоюзный лидер геологов откажется выступить на рабочем собрании. А возможно, он пересилит себя?

Но рабочие и геологи партии независимы были от Эммы и Короедова. От слов их, прямых и правдивых, сокрушалась мнимая сила, бледнела корысть, сластолюбие. Суть разговора на собрании была такова:

«Как Короедов в городе нас нанимал на работу? Здравствуйте, мол, туды вас сюды! Знаете, куда летите? Горы, безлюдье, тайга. Зимой морозы бьют кулаком по затылку, летом от комаров лопатой не отобьешься. А мы ему так: правду скажи, пугать не пугай! Мы не птенцы оказались, а люди бывалые. Барак построили, баню, пекарню. Лошадей подковали, вьюки наладили. Ждем настоящей работы, а ее нет. Началось половодье, а выехать не на чем. Короедов катамаран взялся построить — до сих пор строит. И лодку купить не купил. На профили вышли проходку канав вести — забурников не оказалось. Сами бы отковали, но ни стали, ни молотов нет. Проходку начали было и бросили. Короедов на гору сначала ходил: раз — серьезно, два — понарошку. Потом перестал ходить. Как мы живем, чем живем — ему до нас дела нет. Солнышко встанет — они на рыбалку с Эммой. Рыбку ловят, рыбку солят, рыбку вялят. В ящик да в город на вертолете. Личное выросло у Короедова выше производственного».

«А другие тем временем с ног валялись. По весне груз забрасывал на арендованной мотолодке один наш рабочий. Опасно: тут перекаты страшные. И трудно, и риск. Попросил моторист оплаты повыше. Короедов сказал, что пока он начальник здесь, каюр у него больше ста двадцати не получит. Пусть бы и так, но ведь Эмма тоже «каюр» по штатному расписанию и то же самое получает, но за красивые глазки...».

«Короедов рабочих матушкой кроет, и Эмма с нами груба. Вот один из нас ей и сказал: «Ты, Эмма, как рвотный порошок». Короедов ему за это выговор. Нельзя, говорит, любовь оскорблять. А любовь-то у них какая? Тряпичная. Чем-то же отличается настоящий медведь от плюшевого? Короедов кричит иной раз на нас, как на волов не кричат. А если ра-

бочего человека понять и уважить, так он пальцем землю проковыряет. Короедова мы спросили: как руководитель, можете вы Советской власти честно в глаза смотреть? Молчит. Нет, говорим, вы хлеба своего честно не заработали. Когда мы потели, вы консервные банки по полу пинали... Мы и сейчас вам правду в глаза режем. Нам за углами шептаться нечего... Поставили вас к руководству — не придерживайтесь дурной привычки «плюй на нижнего». Вы хвастались, что к начальнику управления двери пинком открываете. Может, и так. Но мы вам хором песни не пели».

Ковалев исписал стопку бумаги, Двоерядкин — страничку неполностью. Остальное свободное место заняли чертики, кубики, стрелы. Эмма сидела в сторонке и бесстыдно смотрела на Двоерядкина. Ее самолюбию было достаточно пищи.

Двоерядкин от выступления отказался, сославшись на сильную головную боль. Ковалев хмыкнул и метнул на него острый взгляд. Не сомневаюсь, что и для него маленькое ночное происшествие не было тайной.

Говорил он немного, спокойно.

«Вы, Короедов, должны бы давно понять, что ваше место вот здесь, на нарах, вместе с рабочими. А вам кофе в постель подавали... Практически вы ничем не были заняты. Вы не описали ни одной горной выработки, ни одного маршрута не прошли. Сидите на базе, строчите радиogramмы, делаете занятый вид. Итог нашего собрания: вы отстраняетесь от должности руководителя геологоразведочной партии...».

* * *

Выписывался Сараев неделю, сдал две зарисовки и путевой очерк. Улыбин его похвалил и поторопил на село. Заканчивалась жатва зерновых, готовились к уборке сои.

— Чтобы не было скучно, отправляйтесь с нашим фотокорреспондентом Маркеловым, — посоветовал Юрий Юрьевич. — Он уже, кажется, в сборе. Зайдите к нему в отдел.

7

А в сентябре совсем пошло на закат палящее славское лето. Ливни упали стеной, с краями сровняли канавы, подняли на дыбы большие и малые реки — и загуляла водица, зашумела по низким улицам. От дома к дому горожане кой-где перебирались на лодках и в брод. Домашние утки и гуси, почуя простор, плавали там, куда прежде их не пускали. Гогот и хлопанье крыльев оглашали многие улицы и переулки города.

Ветер часто менял направление, носились, кружились потоки дождя, и клены хлестались вершинами, как мокрые паруса.

Славск самолетов не принимал. Но поезда приходили.

Житель столицы поэт Вадим Заиграев ехал в мягком вагоне и мучился мыслями об осажденном стихией городе. Газеты писали о Славске с тревогой. Сообщалось, как строили дамбу, как вывозили людей с низин на сопки, спасали подвалы, архивы, имущество. Много тысяч рогожных, бумажных, крапивных мешков, набитых песком, уложили в дамбу.

«Восхитительно! — думал Вадим Заиграев. — Все это надо осмыслить и хорошо воспеть».

Встречал его на вокзале Сицилиан. Они обнялись и чуть не заплакали...

Реки входили в свои берега, солнце сияло на чистом, отмытом, проветренном небе, и жизнь потрясенного Славска понемногу устраивалась на прежний лад.

Все эти дни Сараев работал на дамбе — землю кидал лопатой до устали, уходил на короткое время поесть, вздремнуть и написать сообщение с места событий для специального выпуска. Люди его восхищали, и особенно один старый бульдозерист, фронтовик-сталинградец. От рычагов у него так занемели пальцы, что когда ему принесли однажды поесть, он не мог удержать в руках ложку. Человек этот трое суток не покидал кабины...

После серой завесы ливневых туч небо слепило глаза. Мостовые курились паром, а окна даже унылых домишек глядели на мир просветленно и радостно.

Однажды в такой вот день Максима окликнул на улице бодрый знакомый голос.

— Откуда умная бредешь ты, голова? — лучезарный Чуфистов стоял и глядел на него, подбоченясь.

— Вы ли это, Иван Фомич!

— Жив я, дитятко! И видеть вас рад...

— Взаимно. Дайте ж пожать вашу руку!

— Осторожно — мозоли. Изба моя у самой реки. Дни и ночи кидал землицу на насыпь, чтобы меня не унесло, как муравья.

— Это было бы просто чудовищно!

— Я так же считаю. Одним чудачком стало бы меньше, а жаль. Чудаки украшают мир, утверждал классик... И вот, спасая себя, спасал и других, да еще успевал почитывать ваши заметки о борьбе со стихией. Они укрепляли мой слабый дух.

— Да вы самый жизнерадостный житель Славска! Духу в вас, как в кузнечном мехе.

— Перенимаете у меня козырные окончания?

— С кем поведешься... Составьте компанию, прошу!

Чуфистов оживился до трепета и сладко прикрыл глаза.

— Куда вы идете? С вами хоть в новый потоп!

— Потоп прошел, а мне в издательство. Там Заиграев встречается с начинающими.

Чуфистов потускнел, как зеркало, на которое вдруг дыхнули. Щека его сморщилась.

— Я не молюсь в том храме, но ради вас готов...

— Так идемте же! Вместе помолимся. Вдвоем нас в шею не вытолкают. Да и зря вы себя унижаете. Что ж вы задумались?

— Стойте... Дитятко, истосковалась душа по ароматам долин Геленджика... Молчите?

— Молчу.

— Смеетесь?

— Смеюсь...

— Даже запах полынного вермута мог бы утешить меня...

— Пусто в кармане сегодня. С полочки я вас угощу.

Почему-то Сараеву вспомнился чесночно-перечный кофе Юрия Юрьевича...

8

Из дневников...

«Пока мы шагали в издательство, Чуфистов поведал мне, что давней мечтой Сицилиана Гостинцына было желание собрать всех юных поэтов города в кучу и выпустить их на свет белый под общим названием «Зеленый шум». Но как он ни примерялся к такой затее, все выходило не то и не так. Тень Заиграева, по мнению Сицилиана, наглухо закрывала незрелую поросль. Поставленные с этой фигурой рядом славские барды (опять же по мысли издателя) были мелки, как рыбки аквариума. Однако надежды выбрать из худшего лучшее Сицилиан не терял. Каждый приезд Заиграева он обращал в школу для начинающих...

Клуб славских поэтов еще не начал работы, когда мы вошли. Человек двадцать плотно сидели на стульях у стен, а за старинным столом в стиле ампир широко поместились столичный поэт и славский издатель. Оба блаженно курили. В комнате было сине от дыма.

Мы поздоровались. Чуфистов представил меня.

«Откуда?» — спросил Сицилиан.

«Из Томска... Есть город такой. Прежде Афинами называли сибирскими», — отвечал я не без гордости.

«Есть, есть, — Сицилиан два раза качнул — вправо и влево — продолговатой, как дыня, кудрявой головкой. — А журналистского отделения нет в вашем университете. Значит, вы просто шкраб, то есть школьный работник».

«Не поясняйте, знаю. — Я чуть повысил голос. — Можно присутствовать на вашем сегодняшнем вечере?».

«Сколько угодно! Вы что-нибудь пишете... кроме газетных статей?».

«Ничего. Не одарен на большое. В литературе я потребитель — читатель».

«И критикой вы... не того, не балуетесь?».

«Ей-богу, нет!».

«Вы человек неопасный. С вами даже не интересно».

Сицилиан хмыкнул, по-кроличьи быстро подергал губами и ткнул сигаретой в пепельницу. Заиграев глядел на меня полным открытым взглядом.

«А в Томске поэты есть?» — проявил он ко мне интерес.

«Знаете, есть, только маленькие. Большие еще растут».

Чуфистов помаргивал желтым вытекшим глазом, был весь какой-то холодный и замкнутый. Но мой последний ответ вызвал в нем приступ беззвучного смеха. Он подломился в коленях, поймал руками живот. Сидящие захихикали, лед растопился. Иван Фомич распрямылся, потянулся к столу — к распечатанной пачке «Кента».

«Чьи ж это дивные сигаретки?».

И не дожидаясь ответа, вынул одну, размял, закурил.

«Не бросили разве? — спросил Заиграев насмешливо. — Я слышал, с тех пор, как вы пострадали в степи...».

«Не пил, не дымил ровно два месяца. Потом вернулся к тому и другому!».

«А как поживает ваш новый роман?» — польхал дымом Сицилиан.

«Слава богу, не кашляет, не чихает! Выстраиваю все здание в строгом порядке», — отвечал благодушно Чуфистов.

«Как выстроите, так приносите!» — радостно взвизгнул Сицилиан.

Разговор на этом умолк. Гостинцын поглядывал на часы, поскребывая впалый кудрявый висок строкомером. Заиграев легко погрузился в дремоту.

Пока длится эта приятная пауза, я попробую дать беглый портрет двух друзей — издателя и поэта.

Не потому, что легче нарисовать доброго рядом со злым, веселого с грустным, тонкого с толстым, но Заиграев и Гостинцын являли собой две абсолютные противоположности. Это было разительное отличие, как отличается, например, гранат от банана или опенок от боровика. Вадим был упитанный, гладкий, толстощекий, круглоголовый, с брюшком — икряный, как бы сказали у нас в Нарыме. Вальяжный, ленивый в словах и движениях, с полуприкрытыми веками. Сицилиан же, наоборот, выделялся хрупкой тонкостью стана, упругой подвижностью и говорил быстро, взмахивая руками.

Главным достоинством Сицилиана был, несомненно, нос. Жители Славска должны были узнавать его по носу издали — за квартал или дальше.

Вошел невысокого роста толстяк, поздоровался, сел и зевнул.

«Кто?» — спросил я тихонько Чуфистова.

«Шмелев. Басни пишет».

«Читал, попадались в газете. Познакомьте меня с ним сегодня».

«Могу. Дельный мужик, да беда — зевотой с недавних пор мается. Хроническая. Ударил себя двухпудовкой по голове, нерв какой-то нарушил. Выжимал, выжимал гирю, она сорвалась и скользнула по уху...».

«А гире хоть бы что?» — я едва сдерживался.

«Вы не поверили? Правда. Вот и со мной так было — я сутки икал. Сам не сплю, жену волну. Схватила она меня бить. Сразу умолк...».

Сицилиан постучал ногтем по стакану.

«Начинаем... Вечер будет вести наш земляк поэт Вадим Заиграев. Меня упрекают часто в особом пристрастии к этой звезде восходящей, но тут я с собой ничего не могу поделать. Люблю и славлю! Да, это звезда первой величины, такая, к примеру, как Сириус, который своим сиянием затмевает даже Сатурн».

«Не возноси — уронишь, — сказал польщенный Вадим Заиграев, сладко смежая веки. — Есть у вас новые басни, Шмелев?».

Шмелев поднялся, растер кулаком морщины на лбу.

«Одну прочту... из последних. Называется «Жертва случая».

Какой-то пиццевик —
 Он был, наверное, шутник —
 На банку с хреном прилепил ярлык:
 «Цветочный натуральный мед».
 Хрен удивился: «Вот те на!
 А толковали, что я корнеплод,
 И грош мне красная цена.
 Зажимщики! Не подвернись толковый человек
 Так хреном и считали бы весь век!».
 Хрен поступил в торговлю. В магазине
 Он выставлен красиво на витрине.
 И все читают: «Мед... Мед... Мед...».
 Но истина всегда свое возьмет.
 Ошибку обнаружили и к хрену,
 Приклеили его ярлык и цену.
 На этом бы и кончен разговор —
 Ведь грех не так уж был велик.
 Да хрен бунтует до сих пор
 И требует вернуть ярлык.

Спор разгорелся; стали гадать, кого баснописец имеет в виду? Называли того и другого, поименно и пофамильно перебрали полдюжины субчиков и голубчиков от разных организаций и ведомств, кто незаслуженно занимает руководящее место.

«Тю-ю, глупые, — махнул рукой Чуфистов. В кого-то из нас он метит. Может, в меня, может, в него (показал на столичного гостя), может, в каждого. Скажи, не так, Фатешка».

Молодчина Иван Фомич, угомонил!

«Кто будет еще? Не стесняйтесь», — приглашал к состязанию столичный поэт.

Вызвался бледный, худенький юноша с редкими светлыми бачками, нежный, точно принц. Смущение переполняло его, голос срывался. В стихах писал он о небе и звездах, о каплях росы и цветке лютике. Почему он из сотен прекрасных цветов выбрал этот, невзрачный и желтый? Потому что изменчивый, вредный. Имя ему — лютик, и девочку, которую так любил худенький юноша, тоже ласково звали Лютик, а менее ласково — Люся. А Люся любила другого и над юным страдальцем смеялась. И вырвалось у него из души:

Горький, едкий лютик,
 Лютик-баламутик!

Тоненьким выкриком он кончил читать, поник и стоял, как белый барашек. Последняя кровь отлила от его бледных щек. Над ним можно было смеяться, но из жалости не смеялся никто.

«Как вас зовут? Садитесь...» — сказал Заиграев.

«Валерой. А дразнят Вякающим!» — гуднул неожиданно пароходный бас. Я сразу заметил его, когда мы вошли: здоровый мужчина с усами, с каленым отливом щек. Лицо его было так плотно и крепко сработано

но, что невольно напрашивалось сравнение с круто замешанной и хорошо обожженной глиной.

«Рано ему про любовь ворковать! — наддал пароходный бас. — Он еще в школе учится, я его знаю. Двойки хватает!».

«Вы не в то русло хотите направить наш поэтический вечер, — вмешался Сицилиан. — Здесь не родительское собрание. Есть у вас что-нибудь из своего?».

«Найду!»

«А этот куда? — удивился Чуфистов. — В поэзию лезет, а двум свиным щей не разольет».

Он начал читать, я прослушал (Чуфистов отвлек), но ухватил строку:

А мысли стучатся о лба кость!

«Скверно, товарищ Фуфаев!» — остановил его Сицилиан, смахивая указательным пальцем росинку с кончика своего носа.

Я впился глазами: Фуфаев! Литературный мошенник. Каков! Украл рассказ у Джерома К. Джерома, а теперь сам пишет стихи. Под пыткой такой строки не придумаешь! Я слышал шепот Сицилиана Вадиму: «Зарежь его». Заиграев поднялся, громыхнув стулом.

«Ваши стихи, Фуфаев, — это ржавая проволока. Стыдитесь читать их даже один на один в туалете».

«Сам пишешь продохлых кошек!» — выкрикнул злобно Фуфаев.

(Говорят, ни про каких дохлых кошек Вадим никогда не писал.)

«Вы хулиган! — ткнул в его сторону пальцем Сицилиан. — Воинствующая тупость! — и опять ткнул. — Литературный вор!» — и снова тычок пальцем.

Фуфаев был белый от гнева и что-то мычал, как раненый бык во время корриды. И выскочил вон, в горячке забыв хлопнуть дверью.

(Потом по городу слухи ходили, будто Фуфаев, примчавшись домой, налил в кастрюлю воды, засунул туда сборник баллад Заиграева и кипятил их до полного растворения. Любимая его жена, актриса, и та не в состоянии была ему помешать.)

Поэтический вечер прервали. Мы вышли с Чуфистовым первые, за нами выкатился смеющийся баснописец Фатей Шмелев...».

9

Они вдвоем так и остались сидеть за старинным столом в стиле ам-пир. Сидели и думали, один — кусая губу, другой — теребя кончик своего носа.

— Черт знает что, — вздохнул Заиграев.

— Провинция, отсутствие высокого интеллекта. Ты не за этим приехал сюда, наплюй, — сказал Гостинцын.

— Тебе хорошо говорить. Дойдет до властей города... И так на меня здесь давно косо смотрят.

— Ты напишешь в стихах сценарий для славского хора. Я тебе после одну идею подам. Идем на воздух...

Свет погасить не успели, как послышался женский взволнованный голос:

— Эдька, я их нашла!

В платье вишневого цвета, в красных блестящих резиновых сапогах Ляля была соблазнительно хороша. Поэт задержал на мгновение сонный свой взгляд на полуоткрытой тучной груди с густым загаром во весь широкий вырез. Мгновения этого было достаточно, чтобы стряхнуть с себя скуку и забыть неприятности вечера. Он ожил: он просто вздохнул. Вишневый цвет дорогого Лялиного наряда удивительно как сочетался с чистотой и смуглостью ее кожи. Она стояла вся на свету и сама излучала свет полногубой яркой улыбкой.

Акулов, одетый в строгий черный костюм, был тоже красив собой и могуч, но ему не хватало изящества, каким наделила природа его супругу.

Полный, грудной голос Ляли, ее распахнутая улыбка, ее некрасивые, но искрящиеся глаза, — все находило отзвук в сердцах стоящих с ней рядом мужчин. Красиво она подала ручку для поцелуя Вадиму и Сицилиану. Оба шаркнули перед ней ногой. Она обратилась к поэту:

— Так вы еще не забыли скромного фармацевта из дежурной аптеки? Мне это льстит... Когда-то я приходила слушать ваши стихи... Потом вы, помню, серьезно болели. Я приготовила у себя такие лекарства, что болезнь сошла с вас, как с гуся вода... А теперь у меня муж, — перескочила она лет на пять назад. — Эдик, иди познакомься... Вот он какой, скромный, стройный, высокий, и пытается тоже писать... Недавно я прочитала болгарский роман «Табак», а скоро возьмусь за Хибингуэя.

— Называйте его для краткости Хэм, — с улыбкой поправил ее Заиграев.

— Вы с ним знакомы? Ах, нет... Сокрушительно жаль!

— Куда мы идем? — спросил Заиграев, у которого начинала почему-то трещать голова.

— К нам, к нам! — Ляля забила в ладоши как девочка. Поэт и издатель переглянулись.

— Нет возражений, — ответил Сицилиан.

* * *

В собственном доме Акуловых было три больших комнаты. В гостиной стояла старинная мягкая мебель. Ковры на полу и на стенах, тяжелые бархатные портьеры на дверях скрадывали голоса и шаги.

В простенке траурно выделялся фотопортрет военного. Заиграев подвел к портрету своего друга.

— Ее отец, подполковник. Погиб на учениях. Папаху не успел прочитать...

— Ты много болтаешь лишнего. Этот арап смотрит на тебя косо.

— И я могу косо смотреть! — Вадим вызывающе рассмеялся.

А в это время на кухне «арап» вращал белками:

— Нет, ты мне ответь! Откуда он знает твоего отца?

— Эдька, ты дурак. Разве не мог такой человек, как он, бывать в таком доме, как наш? Неси и не смей ревновать. Я ради тебя стараюсь. Ты должен, должен писать. Сицилиан нам поможет.

Она оставила след помады на его жесткой щеке. Он взял от нее высокую вазу с крупными красными яблоками.

— Поставь на стол посередке!

Акулов ставил вазу на стол и тяжело, по-бычьему, смотрел в грудь Заиграеву.

— Пойдем покурим в беседке под тополем, — позвал поэта Сицилиан и, едва они вышли, застрекотал: — Ты пришел подавать ей намеки? Ты ей так подмигнул, что Акулов зажмурился!

— Что ей намеки, Сицилиан! Ее надо брать и уводить в кусты без намеков. Муж ее — дурень набитый. Ты чувствуешь, как она с ним?

— Чувствую. Он раб, но он может восстать!

— Он что-нибудь пишет?

— Я вижу его впервые.

— Подай надежду! Ты это можешь... Господи! Она разжигает меня, как в дни молодости... этим широким вырезом... этим вишневым платьем! Хибингуэй! Тоже дура, но дура горячая.

— Увлечение тебе мешает, — тряс головой Гостинцын. — Я против, чтобы ты здесь тратил время на шуры-муры. В Москве наверстаешь, а тут куй железо. Управление культуры отвалит тебе кусок и еще полкуса за сценарий народному хору.

— Сицилиан, ты забыл, что в таких делах я давно уже зубр. Неделя трудов — и хор ваш получит желаемое. В стихах отражу наводнение, природу, труд землелашца...

— Тогда постой, уж коль ты начал... А соль, острота в чем твоя будет? — наскочил на поэта издатель. — Без элементов сатиры — пресно, сухо, неудивительно. Видел, как ярко сегодня блеснул Шмелев? Ого! И ты удиви. Чтобы слушали и смеялись. Чтобы рожи у зрителей перекосило не хуже, чем в выпуклом зеркале. Чтобы стулья от ерзанья были горячими. Чтобы умы, наконец, в брожение пришли. Застой в мыслях приводят к застоям в крови. Ты столичный поэт. А поэт — это ветер, самум, ураган. Пушкин сравнил стихотворца по вольности с ветром.

...Таков и ты, поэт,

и для тебя запретов нет.

— Спасибо, Сицилиан, напомнил...

— Не я ли всегда старался внушать тебе острые мысли?!

— Ты, учитель, — кротко признал Заиграев.

— Так иди же, как шел, от мысли — к образу!

— Пойду, куда мне деваться... Ты меня уже начал гипнотизировать... — Сицилиан обвел глазами двор и выставил громоотводом палец.

— Не стоит слишком напрягать воображение! Окинь орлиным взором нашу жизнь, и ты увидишь... Что ты увидишь в Славске, например? Был в магазинах? Был. Ну вот. Где знаменитая калуга, осетрина, которыми гордился Славск со времени еще первопроходцев? Калуги, осетрины — нет! В витринах под стеклом окаменелости одни, муляжи...

— Постой теперь и ты, Сицилиан! Ты говоришь в каком-то странном ритме... как будто «Фауста» читаешь мне.

— Ну-ну, и ты уж заражен моей заразой — моими мыслями. Но

мыслей нет пока! Я факты россыпью бросаю, а для затравки и тебе на помощь — шью белыми стихами, черт возьми!

— Шпигуй, Сицилиан!

— Калуги каменные — это ли не смех? А может, ты видал икру, кету семужного посла? Иль крабов?.. Их с тобой когда-то мы до одуренья ели... Нет, этого теперь ты не найдешь — ни днем с огнем, ни темной ночью... А что теперь ты видишь в гастрономах? Морских колючих окуней с как будто бы подбитыми глазами — так выпуклы они и так стеклянны, меч-рыбу, рыбу-саблю, пристипому и... стыд произносить... какую-то бельдюгу! Никто или почти никто их не берет. И пристипома та же, и бельдюга, ей-богу, обросли уж бородой!

— Натравливай меня, Сицилиан! — вскричал поэт.

— А кит в горохе? Это ли не юмор! Животные, которым равных нет, пошли на мясорубку, фаршем стали... И вот тебе — с горохом пополам нам поданы к столу!

Вадим Заиграев дико, безудержно хохотал. На его хохот вышла Ляля. Ее приятный голос разлился в вечерних сумерках:

— Друзья, зовут садиться!

— Сейчас идем! — сказал Вадим и шепотом Сицилиану: — Ну и кудесник ты, старик. На расстоянии сумел заставить даже Лялю произносить ритмические фразы.

— Признайся лучше, я тебе помог? Ну вот. Разбавь водой — и уж готов сценарий. Я думаю, ты выпечешь из этого тяжелый каравай. Пошли, они нас ждут...

Сицилиана Гостинцына можно было сравнить с дрожжами — так он умел влиять на возбуждение мыслей и чувств. Окажись здесь сейчас Сараев, он понял бы смысл сказанного когда-то Улыбиным: «Издатель города Славска закусывает человечками». И хотя Вадим Заиграев не относился к числу самых маленьких, нельзя отрицать того, что Гостинцын им только что не закусил...

10

Из дневников...

«Говорят, пречудесный был вечер вчера у Акуловых. Стол ломился от обилия разных закусок и вин, а главным украшением застолья была, несомненно, Ляля. Она и на вечер осталась в том же вишневом платье, только на шею легла тонкая золотая цепочка с большим янтарем, настолько прозрачным, что в нем был виден отчетливо черный окаменелый жучок.

Ляля сидела между поэтом и мужем. Дальше по кругу от Эдика восседал репортер Лев Хахавский, которого все называли здесь Лево́й, хотя был он уже в глубоких годах. Выделялся он лошадиным лицом, большими вставными зубами и плешью, восковой желтизной и формой напоминавшую ангельский нимб, по ошибке надетый на грешника. Кроме того, что Хахавский бойко снабжал газету оперативными материалами,

он писал еще музыку к пьесам Лопе де Вега и Кальдерона и сбывал ее по дешевке местному драмтеатру.

По телефонному приглашению Ляли Меркурьевой пришел и скромненько примостился с краю стола, подле Левы, трагический актер Ширинкин. Знаменитым он не был до той поры, пока будто бы не сыграл свою лучшую роль на кухне у себя дома. В тот день, говорят, его мучила жажда известного свойства, а жена не давала ему трех рублей. Подобно каменной бабе в калмыцкой степи, стояла она на этом неизменно. Происходила у них перепалка на кухне летом, в жару. Пот с обоих тек градом. На электроплитке кипел ключом суп в кастрюле. Ширинкин, осененный внезапно какой-то мыслью, выдернул шнур из розетки и со словами «Умри, несчастная!» ткнул штепсельной вилкой в оголенную руку жены. Той почудилось, что ее убьет током, вскрикнула и упала в обморок... С этого-то момента трагик Ширинкин и был признан городом Славском по-настоящему...

Застолье шло у Меркурьевых бурно и весело. Вадим Заиграев с упоением читал стихи, подходящие лишь для узкого круга. Потом танцевали под джаз. Ляля усердствовала особенно, рискуя повредить себе тазобедренный сустав. Но все, слава богу, обходилось пока благополучно.

Хуже стало к полночи, когда все чересчур огрузли и больше всех — Эдик Акулов. Ляля и не подозревала, что муж у нее такой лютый ревнивец. Но, может, ничего страшного и не случилось бы, не появившись неожиданно Сима...

Симу знали здесь все. И сразу с восторгом к ней потянулись бокалы. Но Сима трясла головой, и губы ее дрожали.

— С ней что-то случилось! — ахнула Ляля.

— Ребятки, в газете завтра идет фельетон «Коровобоязнь». Там все про Эдика, — проговорила она упавшим голосом и всхлинула.

— Это рука Погonyшева, — сказал Сицилиан. — Всем известно, что у него синтетические мозги.

И тут прорвало! Ширинкин вскричал:

— Его отец торговал дождевыми червями и питался обедками с ресторанов!

— В Америке был президент, который в молодости продавал пирожки с зайчатиной. И ничего! — проговорил столичный гость. — Переживете, не страшно. Кто досыта питается, тот имеет подкожный жир и тот не боится мороза. К примеру, тюлени, пингвины, моржи...

Говоря это, Вадим со страхом глядел на Акулова: Эдик залпом выхлестывал уже второй полный стакан. На пол упал и разбился хрустальный фужер. Звон хрусталя, как бой корабельных склянок, дал мыслям гостей нужное направление. Все поднялись и спешно стали прощаться...

А с Эдиком стало твориться, рассказывают, что-то неладное. Огромный и пьяный, он оттолкнул жену, тещу взглядом загнал на кухню, вынул из гардероба Лялину шубку черного дорогого каракуля, взял ножницы, сел среди пола и стал состригать завитки.

Ляля безудержно плакала. Ругаться и проклинать она уже не могла. Склонилась к столу и редела, а камень, свесившись с золотой цепочки, лежал в клубничном варенье. Ляля видела это и ничего не предпри-

нимала. Вспоминала, должно быть, с иронией, что ей говорили, будто янтарь, по поверию древних греков, приносит женщине счастье.

Где же оно, это счастье?

Ей было, конечно, и больно, и душно от слез...».

11

Из дневников...

«Метет по земле рыжим лисьим хвостом октябрь. Неприглядно кругом и пустынно. От первых морозов сварились в садах королевские георгины, поникли другие цветы, и грязь затвердела на непросохших дорогах.

Утрами прихватывает, хрустят белые тонкие льдинки на мелких промерзших лужах, осыпаясь стеклом в пустоту.

За цветами вослед увяли краски на небе. Окрестности сразу охолодели, а далеко обозримые дали теперь навевали тоску, побуждая к тягучим раздумьям бог весть о чем...

Я бродил по склону горы за городом, и к сердцу неожиданно так подступила тоска. Остановился невольно, прикрыл ладонью глаза...

Что за струна натянулась во мне и дрогнула? Какие еще заботы остановили меня в этом безмолвном просторе? Или припомнилась вдруг своя ли, чужая вина, о которой и думать забыл, а она опять постучалась в сердце?

Ответа сразу не мог себе дать.

А минуту спустя я уж бежал в направлении города. Скорее к столу и за письма! Ни строки не послал брату Егору на Васюган в экспедицию, Соломин заждался обещанной весточки. Как мог я так долго молчать...

Скрытый от глаз, за печью сверчал сверчок — второй жилец моей комнаты. Сверчок был старый, он давно уже стер свои шпоры на лапках, и звук у него выходил не такой чистый, как надо бы... Я помню сверчков своего детства — те пели звонче.

Вот думал начать с письма брату, а рука сама начеркала другое: «Прости, дорогой Сергей Никодимыч, за длительное молчание».

Строку вымарывать не хотелось, и я продолжал. «Ходил по осенним горам, и вспомнилась мне наша нарымская зимка. Подумал о бойкой горячей лошадке, тулупе, санях и душистом зеленом сене. Снега кругом голубые, и дали насквозь обозримы. Снегами увиты деревья, стога, кусты. Снегом кидает мне лошадь в лицо. Снежной пылью кружится поземка — метет и струит по равнине...

Бог знает уж как, но представилось, вспомнилось это. А вокруг были горы, жухлые травы и рыжие шубки корявых дубков. Вспомнил я брата, тебя, старинный наш Томск, и вот сижу и пишу. Затосковал по Сибири своей, подступило!».

Отвлек меня скрип двери. Просунулась голова хилого человечка с угарным, болезненным блеском в глазах.

«Кореш, сообразим? Погибаю...».

«У меня голова не болит. Я непьющий. Закрой-ка дверь»

«И хрен с тобой», — Человечек икнул и скрылся.

Только я взялся за продолжение письма, он опять появился, но уже перед окном и не один, а с громадным детиной, большеголовым, с ушами наростопырку. Ушастый был явно доволен собой, что-то жевал и ни в ком не нуждался. Нудящийся человечек был для него назойливой мухой. Мне слышался их разговор.

«Опять? Я ударю...».

«Ударь, я битый, ударь!»

И ушастый большеголовый ударил!

Что это был за удар... Кассиус Клей позавидовал бы такому удару. Легкое тело несчастного оторвалось от земли, пролетело по воздуху и упало в бурьян. А бурьян рос на мусорной куче. Будь это тело потяжелее, удар мог бы кончиться смертью. Но хмельной мужичок едва ли был тяжелее барана. И, к счастью, восстал из лопухов живой, ублагодворенный. Он не плакал и не кричал о спасении. Бледный, как недопроявленная фотография, он приблизился к ушастому, заглянул в каменное лицо его, и я расслышал осипший голос:

«Спасибо, падла, уважил...».

Задернув оконную занавеску, я начал ходить по комнате. Мягкое настроение души сменилось взбудораженностью. Вот так же в прошлое воскресенье мне испортила день несуразная драка соседей в дальнем конце коридора. Один другого побил помойным ведром, а мне после пришлось их мирить...

Многолюдно в нашей казарме, тесно. От неудобства жилья — трения и склоки. Чей-нибудь кот затянет свою любовную песню, и полдома уже перессорились. Начнут кидаться словами колючими, едкими, а едкое слово — репей: оно цепляется, к нему цепляются. И пошло-поехало.

Как-то вот так выходит: у каждого двери отдельные, у каждого свой сарай с углем и дровами, а помой все в одну яму льют.

По коридору, через четыре двери от меня, живет повар Акимыч, осанистый, крупный старик, с красной пуговкой вместо носа. Нос у него, конечно, живой, настоящий, и ноздри есть, но настолько он мал, неуклюж, что сравнение его носа с пуговкой прежде всего лезет в голову и вызывает улыбку.

У Акимыча есть рыжий, как лисовин, беззубевший старый пес по кличке Джек. Утратил он всякую способность кусаться, но голос еще не оставил его, и часто бывает слышно, как он заливисто, хрипло лает. А лает он всякий раз, когда хозяин его начинает приходить в неприятное возбуждение после очередного проигрыша в домино. А проигрывает Акимыч постоянно одному и тому же лицу — своему соседу, тоже пенсионеру, бывшему поездному кондуктору Брюквину, прозванному за страсть к домино Азиком. Прозвища Брюквин не терпит и страшно ругается, когда его кто-нибудь так называет. Голова у Брюквина гола, как бильярдный шар. Рот, огромный до неприличия, невольно напоминает сомий. Но у Брюквина нет усов, и сравнение его с этой рыбой будет не очень точно. Так же неверно думать, что весь интерес брюквинской жизни сошелся на домино. Однажды ему выпал выигрыш, самый крупный по трехпроцентному займу, и у него мечта теперь выиграть столько еще. Мимо меня

он проходит насупленно, на приветствие отвечает нехотя и вообще вести разговоры со мною не склонен. Слово «газетчик» пугает его. Брюквин налегает на самогон и за это имел уже неприятности. С другими он разговорчив, и я слышал однажды, как он втолковывал доверчивому Акимычу, что жизнь любит людей денежных: «Кто не хочет схватить кусок такого формата, как посчастливилось мне? Покажи мне этого осла, и я назову его дураком».

Игра в домино помогает Брюквину ожидать свое счастье. Выиграв партию, он дразнит Акимыча тем, что подымает беззубого Джека к потолку ногами вверх и трясет. Неспособное на защиту животное от гнева и страха пускает струю в потолок...

За стенкой сейчас слышалось всхлипывание. Василиса Васильевна, соседка моя и помощница, была в неутешной горе. Дочь ее Веточка, девушка лет восемнадцати, бледная, худенькая, точно такая же, как мать, убежала недавно во Владивосток с заезжим филармонистом со странной фамилией Самец.

«Куда ты, доченька?» — спросила ее мать, застав Веточку в хлопотливых сборах.

«Он меня любит, мама. Я с ним еду в гастроли».

С Василисой Васильевной сделалось плохо. Придя в себя, она стала требовать показать ей его немедленно. Веточка ей показала... С Василисой Васильевной снова сделалось дурно. Мне она после рассказывала:

«Она у меня вся хрупенькая, малюсенькая, а он громадный, лохматый и черный. А фамилия? Разве может быть нормальный мужчина с фамилией Самец. Не говорите мне про ударение. Что ударение! Не с ударением жить».

Появился еще у нас один человек в казарме: Поленька Янцева. Первый год она работает терапевтом в больнице водников. В дальнем конце казармы, в комнатке, как у меня, помещалась семья молодоженов, тоже врачей. У них родился ребенок, им дали жилье получше, а на их место, не медля ни дня, въехала Янцева. Я подвернулся кстати: надо ей было помочь занести чемоданы, постель, железную ванну, кровать...

Поленька сразу стала своим человеком в казарме. Ее приглашала к себе Василиса Васильевна послушать больное сердце, к ней приводили жильцы мальчишек с ушибом, поносом, кашлем. Мягкие руки Поленьки врачевали пострадавшего от ударов помойным ведром. Это была сама доброта, облаченная в белый халатик, кроткая, с застенчивым взглядом светлых глаз, с невинной улыбкой, когда слабая дрожь, чуть зримый трепет пробегали по ее сочным, красивым губам.

Увидев Поленьку, я в мыслях сравнил ее с Аннушкой, с учительницей из деревеньки под кедрами. И у этой были волнистые, мягкие волосы, светлые, длинные, с золотистым отливом. В душе я назвал ее Скандинавочкой. А та была Золушка, Золушка-Аннушка, далекая и бесконечно добрая, и перед ней я буду всю жизнь виноват...

При встречах с Поленькой я здоровался, улыбаясь, проходил, не задерживаясь, не оглядываясь, и думал, что вообще ничего не случилось и не может случиться, но день ото дня мне становится отчего-то тревожнее...

Все, что думалось мне, о чем вспоминалось, я высказал в письмах Соломину и брату Егору. И опускал я письма свои с чувством большой надежды, что скоро в ответ они принесут мне запах родной земли...».

16

Во вторник утром Сараев, поднимаясь на третий этаж в редакцию, столкнулся с Маркеловым. Обвешанный как всегда аппаратами, Касьян Константинович куда-то спешил.

— На выставку сельскохозяйственных достижений! Изотов должен приехать... Идемте со мной.

— Десять минут подождите на выходе. Зайду в отдел, узнаю, что им оттуда надо. Может, статью Изотова мне подготовить? Ведь очерка я о них тогда так и не написал...

Маркелов его поджидал у подъезда. Скоро Сараев вернулся довольный.

— Согласовал. Подходит. Поехали.

Выставка размещалась в деревянных просторных павильонах за городом. Там было представлено все, что давали поля, леса и недра здешней земли, или, как говорила реклама, — «от диких зверей края, до лучших пород домашних животных, от урожайных сортов сои и хлеба до антоновских местных яблок, от пчелиного меда до лекарственных трав». Были макеты драг и шагающих экскаваторов, добывающих уголь в разрезах, и слепки с золотых самородков, и дорогие меха, и редкие руды.

... Гремела музыка, на ипподроме слышались крики жокеев, делались ставки и заключались пари.

... Тыквы, дыни, арбузы... Ряды душистых крупных яблок... Снопы пшеницы, сои и... перечень всевозможных вещей и веществ, производимых из этих волшебных бобов... Рысьи, соболя меха и шкуры медведей... Рога ма-ралов (панты) и пахучие кабарожьи пупки (кабарожья струя).

... И вольеры с живыми волками, медведями, оленями, лосями и дикими кабанами.

Одно перечисление того, что было на выставке, у Сараева заняло в блокноте много страниц.

На выставке хорошо был представлен колхоз «Степняк». Он помещался ближе всех к ипподрому, и дорожка туда шла мимо павильона «Охота». Сараев решил заглянуть на минутку в «Охоту», надеясь встретить там своего нового приятеля охотоведа Владимира Золотова. Недавно их свел и познакомил Чуфистов, чему Сараев безмерно был рад.

Охотовед оказался на месте и, завидя Максима, вышел навстречу с улыбкой. Высокий, скуластый, со смоляной чернотой жестких конских волос, Золотов выделялся сразу в массе людей. Он был шире Максима в плечах, с крепким жимом широкой ладони. Будучи сам не слабым, Сараев любил ладных, здоровых парней. Сараеву нравилось, что охранитель природы в Золотове сочетался с высокой страстью охотника, настоящего следопыта. Он выслеживал кабанов и оленей на отрогах Малого Хинга-

на, ловил тайменей на спиннинг по перекатам на горных реках. Максиму теперь мечталось когда-нибудь самому пережить это.

— Думал, ты не зайдешь, не проведаете нас. Все славить доярок передовых, пастухов, — стал сразу подтрунивать Золотов, обнимая за плечи Максима. — Напиши об охотниках, а то снимем с пальто меховой воротник.

— Он у меня из овчины. Охотничьему хозяйству я тут ничем не обязан, — сказал он, поглаживая бурую шкуру медведя. — Вот эту, Володя, я бы купил и был бы твой неоплатный должник.

— После закрытия выставки можно подумать... А ты не желаешь сняться с живым медведем в обнимку? Маркелов запечатлел бы.

— Соблазнительно, но воздержусь, — засмеялся Сараев.

— Скажи уж — боишься! — наступал Золотов. — Куприн пил шампанское в клетке со львом.

— Ладно, я к вам вернусь погода, — отмахнулся шутя Сараев. — С Маркеловым надо нам повидать одного человека.

Возле стендов колхоза «Степняк» людей толпилось не меньше, чем у торговых рядов или в павильоне добытчиков золота, где всех привлекали слепки с крупных самородков, найденных в последнее время на севере славской земли. Степняковцы устроили показ своих достижений скромно и просто, но и внушительно. У экспонатов стояли передовые колхозники, специалисты, были они нарядно одеты, веселы. Разговоры велись оживленные, ведь деревенскому человеку приятно поговорить с городским, когда большие дела управлены, когда чувствует он заботу, помощь и все внимание к себе. И время, и место обмолвиться словом, унять любопытство тоже не праздного горожанина. Все друг от друга живем, для всех одна земля, по ней ходим, от нее кормимся.

Дояркам, скотникам — тем много рассказывать нечего. У них и здесь вся жизнь на виду, в работе. Моют, чистят, кормят скотину...

Изотова где-то здесь не было. У входа в павильон стоял старик с бородой вразлет. Сараев спросил у него, не знает ли он, где найти председателя.

— А во-он идет, — протянул старик, показывая в толпу кривым заскорузлым пальцем.

— Издалека своего председателя узнаете, — с похвалой отозвался Маркелов, нацеливаясь аппаратом на старика.

— Давыда Петровича-то? Мы его завсегда отличаем, — важно отвечал дед, расправляя бороду горстью.

— Ветеранов труда снимаете? Дело! — говорил, подходя, Изотов. — Добрый денек сегодня.

— В добрый день о добром и разговор вести, — сказал Сараев, с радостью пожимая Изотову руку. — Нужна ваша статья в газету, Давыд Петрович.

— О чем?

— О ваших колхозных делах, о достижениях этого года. — Сараев потупился. — Исключая, конечно, конфликт у озера лотосов.

— Исключим, Максим Егорыч... Я же вам говорил... А фотографии, подписи к ним — хорошо получились.

— Старались... — Касьян Константинович от похвалы слегка приурмянился.

Договорились встретиться завтра прямо в редакции, сесть вместе и набросать план статьи. Маркелов остался снимать Изотова у снопов сои, а Сараев вернулся в павильон «Охота». Тянуло туда его всеми зримыми и незримыми силами.

— Иди, я тебя познакомлю с одним хищником, — позвал Сараева охотовед, заметив его присутствие.

Максим стал недоуменно оглядываться.

— Не бойся, — смеялся Золотов, — он хищник для нас с тобой неопасный. Зовут его Карасев Иван Емельяныч...

«Чудак Золотов! Хлебом его не корми, а дай поразыгрывать человека».

Карасев был среднего возраста, плотный и краснолицый, с утомленными глазами, невысокого роста и, судя по виду, медлительный.

— За что же он вас нарек хищником? — улыбался Сараев.

— Пернатым хищником, я уточняю, — церемонно кивнул Карасев. Сообразуйте это с моими внешними данными и скажите, к какому виду вы бы меня отнесли?

— Бог вас знает! — весело пожал плечами Сараев. — В орнитологии я не силен, но если напрямч мыслишки...

— Отнесите его к орлам, — выручил Золотов. — Орел пожирал прометееву печень, а наш любезный Иван Емельяныч...

— Хватит, хватит — развеселился, — перебил Карасев и обратился к Сараеву: — Я уже много лет исследую печень диких животных, включая сюда птиц и рыб. Моя кандидатская наполовину принадлежит Владимиру Золотову. Когда мы с ним отправляемся на охоту, я выплачиваю ему компенсацию спиртом.

Охотовед так улыбался, как позволяли ему натура, душа и сердце. Чувствовалось, что с Карасевым они большие друзья.

— А какие у нас с ним были истории! — зажегся воспоминанием Иван Емельяныч. — Тут на жаркое бывает непросто печень достать, а на опыты и тем паче... Вот он привез мне полволка зимой, переднюю часть без головы. Такой соблазнительный жирный кусина, ребер не видно. Упитанный волк был, словом... Я зачем-то домой забегал, вернулся к машине, а волчатины нет! Ясно, кто-то принял за полтуши баранины и умыкнул. Господи боже! Этот волк был отравлен приманкой с барием. Сильный яд... Что делать? Звоним в милицию. Спасибо, нашли. Пригладдел тут один мужичок по соседству, нарубил мяса и варит уже. Пол-литра купил. Успели, не дали уйти на тот свет... А печень, конечно, пропала.

Сараев слушал и вспоминал, где же он видел этого человека. И вспомнил!

Шел он недавно мимо анатомички медицинского института. Час был полуденный, по улице ветер мел пыль, опавшие листья. А поддувало как раз с той стороны, где проглядывала полуподвальными окнами из-за железных решеток эта самая анатомичка. Ветер приносил оттуда запах карболовой извести, формалина и чего-то еще, чем жизнь не пахнет. И тут в приоткрытые двери анатомички выскочил кот без хвоста и уха. Ошалев от свободы и свежего воздуха, животное остановилось на кром-

ке ступени, зевнуло и облизнулось, а в глазах — смесь страха и радости. Еще бы, от смерти сбежал!

Почти в то же время за котом ринулись двое в белых халатах и стали подкрадываться. Кот оглянулся, увидел обидчиков, и дикий, невыразимый испуг охватил его. Он испустил звук, который невозможно назвать ни фырканьем, ни мяуканьем, ни боевым кличем. С этим звуком кот скрылся в бурьяне на противоположной стороне улицы. Двое в халатах, подобно молящимся мусульманам, воздели руки к небу и горестно ахнули.

Один из них был чем-то похож на Карасева...

— У вас убежал из анатомички подопытный кот? — спросил Сараев.

— Откуда вы знаете?

— Так, случайное наблюдение...

— Вам известно, где он находится? — Карасев подался вперед.

— Простите, не знаю...

— На нем был заложен такой важный опыт...

— Который стоил ему хвоста и уха? — улыбнулся Сараев.

— Нам сдали его в полурастерзанном виде. — Карасев качал головой. — Жаль, что сбежавших животных нельзя найти через паспортный стол.

— Ваш павильон закрывается на ночь? И сторож приставлен... Смотрите, а то шкура медвежья тоже может сбежать!

Золотов погрозил Сараеву пальцем:

— Если что, то будем знать, где искать. Обойдемся без адресного стола.

Поговорив, разошлись. Выставка на сегодняшний день закрывалась. А через неделю ее закрывали совсем. Близился первый зазимок. Близилась ночь. Тени ложились от подступавших сумерек...

12

С закрытием выставки все опустело здесь. В павильонах заколотили окна и двери, заперли главный вход, в стойлах не осталось ничьего быка, ничьей лошади — все подобрали и увели хозяйские руки.

Бродячих собак, и тех не было видно.

Один лишь медведь, запертый в клетке, еще оставался на задворках и ворочался там с глухими медвежьими стонами на слежалой вонючей соломе. Второй медведь издох накануне закрытия выставки от закупорки кишечника палочками из-под мороженого: постарались сердобольные посетители, отпотчевали.

У живого в клетке валялись обглоданные добела кости и стояла ржавая ванна с водой. Кормили медведя теперь раз в сутки. Никто уже не кидал ему ни конфет, ни печенья, ни предательского мороженого на палочках. Зверь занемел от тоски и пустого однообразия. В неволе на людях он жил веселее...

Охотовед Золотов появился на опустевшей выставке лишь на шестые сутки после ее закрытия. Отвлекло его важное дело: в заповеднике с вертолета убили двух лосей. Золотов срочно вылетел на место проис-

шествия разбираться по горячим следам и задержался. Вернулся оттуда разбитым, почти больным. Сараев видел, как глубоко задело его случившееся.

— Да, друг, — сказал он с грустью, — каждый такой случай — кусок от живого сердца. Черт возьми! Они называют это «охотой». Расстрелять в упор загнанных насмерть животных... Махнуть бы на все рукой, закрыть глаза и жить спокойно. Пишем, штрафуем, судим, а проку как в басне Крылова про кота Ваську и повара.

— И все равно надо писать, возвышать голос, — стал возражать Сараев. — Махнуть рукой, закрыть глаза — это все равно, что уйти от сопротивления, согласиться со злом. Ты что-то духом упал, Володя.

— Не упал, а просто противно. Противно видеть таких людей, их оправдания, увертки. И кто бы подумал, что лесная охрана, которой закон и самое положение велят порядок в тайге блюсти... Вот что позорно и страшно.

— Одной рукой гладить, ласкать, другой — наставлять карабин, убивать? Тут не позор — преступление.

— Ну купи ты лицензию, ищи, добывай в установленном месте, утоляй страсть и голод... Вот еще есть ловкачи — косуль по степи загонять на машинах. Налетчики, не охотники...

— Делай статью, я тебе помогу, — горячо предложил Сараев.

— Статья нужна, но мне за нее лучше не браться. Как-то ваша газета меня стегнула напрасно за лебедей. Я, откровенно, обижен. Возьмись ты за этих зверобоев из заповедника. Все материалы тебе передам.

— Возьмусь, и не медля. Но что была за история с лебедями?

— Хочешь послушать? Тогда разреши мне зайти немного издалека.

Рассказ Золотова...

«Я родился и вырос на Лене, в среднем течении ее. Лебеди к нам прилетают туда в апреле, когда весна присылает лишь первые свои запахи и приметы. Вдруг начнет рассыпаться утром чуть свет дробь желны. В иное утро выкатится огромное солнце, косматое от огнистых лучей, еще холодное, но уже обещающее перемены к теплу и свету. В такие утра, ты замечал, снега бывают расцвечены чудным, слепящим множеством искр. Нет покуда тепла, но могучие птицы его уже почуяли и полетели. Никто не видел их полета в ночи, и редко кто слышал их караванные песни. Передвижение у них загадочное, тайное, скрытное...

Большие стада лебедей собираются на живцах-попыньях под крутобережьем, где в клубящихся белых туманах, на перекатах, не застывает река даже в лютые стужи. А если скует, то ненадолго. Чуть отхлынут морозы, течение тут же срывает корку, и вновь ожила, засверкала вода.

Далеко от жилья человека выбирают себе места прилетевшие лебеди. Но тот, кто знает тайгу, достигнет самого недоступного места. В тупе, на добром коне, в легких санях и сто километров преодолеть нетрудно. А взять лебедей на живцах при таком их скоплении дело совсем пустяковое.

В старые времена по Сибири встречались охотники до такой добычи, но промысел этот считался почти греховным. Хватало пушного зве-

ря, и стоило ли губить птицу сказочную, в песнях воспетую... Вот чибис. Невеличка птичка, и крик у нее, как стон, неприятный, и в полете она неуклюжая. А на лужайку опустится, посмотришь и залюбуешься. Краса-красота! И говорят в народе: кто чибиса убьет, тот не человек и не охотник. А что же тогда о тех сказать, кто на лебеда ружье поднимает?

У одного районного прокурора на Нижней Лене с электросветом что-то случилось. Позвали монтера, монтер пришел, провода осмотрел — на столб слазил, и ему показалось, что замыкает не на столбе, а где-то на крыше. Хозяев не было, он полез на чердак. Чердак не квартира, можно войти без спросу... Залез и, как говорят, обомлел: весь чердак был увешан тушами ободранных лебедей. Прокурора лишили всех званий и почестей, приговорили к большому штрафу. Что заставило человека, законника, пойти по такому пути? Охотничья страсть? Едва ли. Пожива? Но разве он голоден был... Странное существо — человек. Необъяснимо бывает подчас его поведение...

А в Славске у нас с лебедами случилось такое.

В далеком отсюда северном месте отбилась от стаи пара молодых лебедек. В ноябре уже где-то метель мела... Ехал один на трелевочном тракторе и заметил в кустах обессиленных птиц. Остановился, стал брать их. Они не давались, били его крыльями, клювами. Но он управился с ними, связал, в поселок привез. Ему бы их покормить, подержать и выпустить. Метель отшумела, утихла. По реке только «сало» плыло — первый непрочный ледок, вода со снежком. Но тракторист повез лебедей в райцентр, из райцентра, конечно, нам позвонили. Поехали мы, клетку соорудили и в город. В газету об этом попала заметка, к лебедам — интерес — звонят, приезжают, приходят. Интересно, понятно, птиц таких посмотреть.

Птицы были прекрасны. Мы их окольцевали, приготовились выйти на реку и отпустить в голубые просторы. И погода благоприятствовала.

Тут подкатывает на машине один руководящий товарищ и говорит, что птиц надо в городе оставить — на обозрение и радость публики. Нельзя, отвечаем, не по закону, потому что у нас нет бассейна. Без воды и тепла птицы не выживут, не перенесут нашу долгую зиму. «Бассейн построим!» — ответил руководящий товарищ и укатил.

Озаботились мы. В городе детских садов не хватает, жилья, а тут, как по волшебному слову, бассейн построить хотят. Пошутил дядя, в маниловщину ударился. И наша комиссия, со мной во главе, лебедей выпускает на волю...

Месяц никто не тревожит: забыли о лебедах. И бассейна не появилось по мановению волшебной палочки. И вдруг звонок: лебеди где? Говорим, отпустили на волю. Теперь они где-нибудь в Индии или в Африке... Кто разрешение на это давал?.. Разрешения не требовалось, поступили как надо...

И надрали мне холку: ослушник, лишил удовольствия славских граждан любоваться красой природы. А эта краса без воды опаршивела бы к середине зимы, если не раньше. А к весне лебеди точно погибли бы. В газетке меня лягнули. За что? Стал я искать своего, доискался: из Москвы разрешение пришло выговор мне отменить. Выговор отменили, опровержения не дали. Мелкий случай, сказали, не стоит...».

* * *

— Ты прав. Я возьмусь за статью, тебе не резон.

— Ну и поладили... Хочешь завтра принять участие в одном черном деле?

— Это в каком?

— Поедем за город медведя убивать, выставочного.

13

Из дневников...

«Я никогда не задумывался над тем, куда исчезают звери с таких вот выставок. Смотрел, любовался, как смотрели и любовались другие, и уходил, забывая о них. А диких животных, пойманных для короткого развлечения, часто судьба ожидает совсем незавидная.

В самом деле, куда девать теперь этого вялого, со свалывшейся шерстью, пахнущего навозом медведя? Где его красота? В чем пригодность? На воле он жить не сможет: человек навсегда испортил его. Отпусти — пойдет шатуном, много бед понаделает. И зоопарка поблизости нет. И для юннатов он стал опасен. Вот Золотов и говорит, что другого пути не придумать, как выехать за город и застрелить.

Раннее утро стояло в студеном тумане, на придорожных кустах и травах белела хрустящая изморозь — предвестница близкого снега. Неоппадающая листва дубов и лещины желтела тусклой медью сквозь серый туман.

Мы ехали медленно на легковой, а впереди шла, покачиваясь, грузовая машина с клеткой. Через решетку ее чернела туша медведя. Зверь встряхивался, кренился от резких толчков. На душе было пасмурно, тягостно, и долгое время никто из нас не проронил ни слова. Первым нарушил молчание Золотов:

«Я охотник. Охотники настоящие сентиментальностью к зверю не отличаются, но хранят, берегут минуту, когда животное еще мало и глупо, когда мать его обременена заботой о потомстве, когда лето, жара, и зверь, хотя бы по этой причине, охотнику просто не нужен. Настоящий-то, он живет не одним днем, не одним годом. И у него, настоящего, рука не поднимется убивать, к примеру, медведя в клетке... этак приставить винтовку, стыдливо зажмурить глаза и нажать. Нет! Пусть зверь убегает, пусть держат его собаки, тогда еще можно».

«Вы видите Золотова в момент его философских раздумий, — сказал Карасев, смягчив иронию нежностью голоса. — Не все ли равно обреченному зверю, в каком соусе ты преподнесешь ему гибель?»

«Тебе, может, и все равно, Иван Емельяныч, а мне нет. Не признаю я такого охотника, который поставит петлю на медведя, а после приходит и бьет его в лоб. Мне рассказывал случаи один наш хороший промысловик. Никогда он петель на медведей не ставил, а тут угораздило — решил испытать. Соорудил петлю и удачно: попался здоровый, жирный по осени. Захватило петлей его, затянуло под мышками. Вокруг себя землю

будто канавокопателем вырыл, деревья, какие поменьше, с корнем вырывал. Все оторваться старался. Промысловик застал его измученного донельзя. Поднялся на задние лапы, смотрит в лицо охотнику, а в глазах, не злых, каких-то потухших, несчастных, слезы стоят. Выстрелил промысловик ему в голову. Медведь зашатался, но сразу не рухнул. И пока ноги держали его, все глядел, говорит, на охотника. И слезы текли как будто у человека. Этот плачущий, умирающий зверь так перевернул того промысловика, что он долго ходил сам не свой, и все грезился ему медведь в петле... Не ставит больше он петель ни на кого, даже на зайца...».

«Я умолк, ты меня убедил», — сказал Карасев.

Машина с медведем остановилась под сопкой, у кромки дубового леса. Клетку народом сняли на землю, открыли засов и расступились по сторонам с ружьями.

Медведь долго не выходил, не желал оставлять тесного своего жилища. Потом он просунул сначала голову, повертел ею медленно, словно хотел размять занемевшую шею, затем так же нехотя и лениво высвободил из клетки передние лапы, постоял, вышел весь и отошел метра на два, зевнул, потянулся. Мне показалось, он прячет глаза, стыдится глядеть на людей. В клетке его продержали зиму, весну, лето и осень. А перед этим еще был год полной неволи. Чувал ли он свободу, поле и лес, или они уже не манили его? Он просто не мог их знать, ведь его взяли маленького из берлоги, совсем несмышленного. Медведь обнюхивал землю, озирался и все тянул в судороге онемевшие лапы. А люди стояли и ждали, когда же он побежит, чтобы этим побегом хотя оправдать свое право на выстрелы.

Зверь никуда не бежал. Спокойным, доверчивым шагом он стал приближаться к нам. Во всем этом было что-то невыносимо больное. Косматое, косолапое существо как бы просило не оставлять его и не делать с ним ничего — оно соглашалось будто опять уйти в клетку и жить, как жило, в неволе.

«Собак пускайте! — приглушенно крикнул Золотов. — Эх, ты, бедняга».

Собаки были из молодых и приближаться к зверю боялись. Издали они лаяли и поджимали хвосты, когда медведь поворачивался на лай и делал хоть шаг в их сторону. Одна, видать, посмелее, подступила поближе, зверь взъерошился и кинулся к ней прыжками. Собака вела его к лесу. Золотов выстрелил...

Медведь взвился на дыбы, спина у него изломалась, и я представил, как выпучились, должно быть, его небольшие глаза: ужас смерти, или уже сама смерть остановились в них. Он не издал предсмертного рева и повалился на золотую стерню овсяного поля. Собаки, минуту назад трусливо скулящие, уже давились, стервенея, кровью его и шерстью...

...Неиспытанная доселе жалость сковала меня. Жалел я в детстве коров, когда их били кнутом, с плачем бежал со двора, где готовились вешать собаку, с которой еще недавно играл и которая к тебе ластилась лучше самого близкого друга. Любил я животных, жалел, но такого, что испытал сегодня к несчастному этому зверю из клетки, со мной не было никогда.

Однажды в юности я был на медвежьей охоте. Это было в тот год, как мне покинуть детдом. Я не стрелял по зверю, но приобщился к отваге, испытал нечто мужское, сильное. Здесь же, на этом овсяном поле, свершилась жестокая необходимость. И я был ее свидетелем. Мне стало до отвращения нехорошо...

Два шофера уже свежевали тушу и переругивались негромко, кому из них достанется шкура. Карасев стоял немо, смотрел на лес и выжидал терпеливо момента, когда вспорют медвежье брюхо и он сможет взять парную, горячую, печень. Нет науки без жертв, как нет без них и искусства...

«Иди, покурим», — позвал меня Золотов. Я не курю, но взял от него сигарету, повертел, раздавил, развеял табак. Ветер вздохом пронесся над полем. От леса сюда долетал сухой мертвый шелест листвы».

14

Сицилиан уверял, что в облике Музы Райской есть что-то цыганское, кочевое. Больше чем на год, на два она не задерживалась на облюбованном месте, но Славск для нее стал исключением. Четвертое лето и пятую зиму жила она здесь, и не было слышно, чтобы она собиралась куда-то. Удерживал ее в Славске Сицилиан, сильно удерживал: Муза была черна, большеглаза и тонконога и ходила стремительно, так что в воздухе слышался шелест прохладного шелка.

Тот же Сицилиан утверждал, что Муза загадочна и разгадать тайны ее души не дано даже ему, Сицилиану. Для него самого неразрешим был вопрос: почему Райская ищет там, где она ничего не теряла? В самом деле, почему дочь служителя Мельпомены (отец у нее режиссер драматического театра во Владивостоке) взялась писать очерки о селе? Сердечная нега, с какой относился к Музе издатель города Славска, не мешала ему рубить сплеча.

— Воробей знает лучше село, чем ты. Тебя от него отделяет пространство в тысячи миль.

— Чем превосходит меня воробей в знании села? — кошечкой терлась Муза.

— Он всегда отличит конский навоз от коровьего.

— Сицилиан, ты груб...

Он вскакивал, подходил к ней, порывисто обнимал, извинялся.

— Пиши о селе, о кукурузе, о бройлерах. Дерзай на радость. Я твой помощник и не устану тебя издавать, как тот римлянин не уставал призывать к разрушению славного Карфагена. Ты усидчива, Муза. Ты готова себя приковать цепью к столу. Bravo!

Первую книжицу очерков назвала она до странности самобытно: «Закопёрщики». Сицилиан Гостинцын такое название одобрил, оно больше ему внушало расположения, чем застрельщики, маяки, победители или ударники. Сицилиан вообще был против затасканных и обветшалых слов и постоянно склонялся к оригинальности. «Закопёрщики» выбили большим тиражом, усеяли книжный прилавок и облепили витрины киосков.

Прочтя «Закопёрщиков» раньше, чем болгарский роман «Табак», Ляля Акулова умилилась:

— Легко, доступно и просто. Пробежала от корки до корки и ни разу нигде не споткнулась. Восхищена! Тронута!.. Мой Акулов тоже мог бы писать, но он дурак. Он нанес мне такой материальный ущерб, что я боюсь говорить.

— Да скажи. Я впервые слышу!

— Не спрашивай, нет. Он в колхозе. Уехал кормить коров. Он может их даже доить, я знать о нем, подлом, теперь не хочу!

— А красивый мужчина был, видный, — томно заметила Муза. — Он мне всегда напоминал... одного капитана дальнего плавания. У того только взгляд был умнее.

— Да-а? Ну, я тороплюсь, прощай!

Муза подумала, что последнее она Ляле сказала зря.

Фатей Шмелев тоже сразу купил «Закопёрщиков» и с пристрастием принялся за чтение. Очерки Райской привели баснописца в сильнейшее раздражение. Шмелев знал деревню, понимал ее жизнь, в баснях он смело шел на проблемы еще нерешенные, брался сам и за очерки, стараясь выискать тему поважнее да попроблемнее. Изъяны книжицы Музы Райской Шмелев увидел простым глазом, без очков и микроскопа: славословие, пустота, трескучие фразы, розовая, подсахаренная водица. Незрелый, поверхностный взгляд на село. Он сел и под запал за вечер написал обыкновенный читательский отзыв, озаглавив его «Мимоездом о «Закопёрщиках».

Утром понес он страницы в редакцию с мыслью передать их в благочестивые руки Погонышева. Гаврила Васильич где-то отсутствовал, отзыв взял посмотреть с разрешения Шмелева Хахавский.

— А ничего, — сказал он невесело, пробежав заголовок. — Вам не понравилось все абсолютно?

— Читайте. Примеры из текста красноречиво доказывают, что ценности в этом во всем нет никакой.

Хахавский читал, потел, глотая слюну. Шмелев наблюдал за ним и позевывал.

— Гарпун на кита, а вы хотите пустить его в женщину. Будьте же снисходительны к ее первому опыту. — Хахавский умилительно улыбался.

— Жалобно вы говорите, конечно. А делать-то что? — Фатей Шмелев подавил зевоту. — Перед истиной творчества все одинаковы. Пол не играет тут роли.

— А помните, как вас за басни щипал один хабаровский критик? — выставился большими вставными зубами Хахавский.

— О, еще как! — Угрюмый Шмелев просиял, расправив на лбу морщины. — Благодарен ему за наставничество. С тех пор я лучше пишу.

— Помягче бы, понежней, поспокойнее. Убивать наповал хрупкое дарование жестоко, — медленно словоточил Хахавский. — А Вадим Заиграев вас называл человеколюбивым.

— Спасибо ему, что не ошибся, — хмыкнул Шмелев. — От новых стихов его я все равно не в восторге. Меня заедает, когда Сицилиан превозносит лиру его до небес.

— У них любовь, они как братья Гонкуры. — Хахавский поднял глаза к потолку и склеил по-мусульмански ладони.

«А ты из породы сорок, — подумал Шмелев. — Я за порог, ты за телефонную трубку. Тут же все перескажешь, а то и приврешь».

— Отдам пойду Улыбину. Пусть судит-рядит.

Шмелев забрал у Хахавского свой критический отзыв о «Закопёрщиках» и выкатился за двери. Ходил он вообще стремительно, выкидывая короткие ноги и утопив глубоко в карманах брюк такие же маломерные руки. И тогда он сильно собою напоминал катящийся шар.

Шмелев каждый день регулярно совершал выходы в город. Цель их была не только спортивная. Он любил созерцать гуляющих женщин, а ими-то Славск был богат. Днем ли в радуге солнца, в ночном ли свечении огней — девушек, женщин было несметно на пристани, в парках, на чистой широкой набережной. Гуляние в море живых цветов на Шмелева действовало возбуждающе, как, например, купание в росе, томление в бане или сон среди лип.

В сорок лет Шмелев не был еще женат...

Сараев встретил его, когда он заканчивал свой сегодняшний марафон. Чуфистов их познакомил тогда на поэтическом вечере, они долго проговорили потом и расстались приятелями.

— У тебя не дежурство сегодня? — спросил Шмелев.

— В казарму пошел, отработался...

— Идем ко мне пиво пить с вяленой таймешатиной. А то что-то грустно до потрохов...

— Я сейчас видел Погонышева. — Максим улыбнулся, не размыкая губ. — Сказал мне название нового фельетона: «Пристилома с бородой», или «Сириус».

— Отлично!

— О содержании умалчивает, хотя я догадываюсь...

— Я тоже предполагаю, в кого полетит стрела. Ну, визгу хватит. Уши ватой закладывай...

15

Из дневников...

«Я верил в свое здоровье: болезни давно обходили меня. Не бахвалился, когда осенью поздно, уже при берегах, плавал на озере за подстреленной уткой или ночь коротал у костра, постелив под себя сена. Парился в бане, валялся парной в снегу, пил воду из проруби и о простуде не думал. Но сегодня ангина свалила меня. Должно быть, от перемены климата...

Сперва я шутил, а потом не до шуток стало: в горле когтями скребет, больно слюну проглотить, жар, озноб. Храбриться нечего — слег в постель. Сутки не топится печка, пар отлетает от губ. Стучусь в стенку, не отвечает никто. Нет дома соседки моей, разговорчивой Василисы Васильевны. Вечером снова пытаюсь дозваться, и мне отвечают: «Сейчас, сейчас!».

Прибежала и ахнула:

«Поленьку надо позвать! Вы что же молчите? Ведь так умереть можно. Сейчас разыщу ее, милую!».

...И загудела печка, вспенилось на плите молоко с несоленным сливочным маслом, появились лекарства. Поленька пульс считала, выслушивала мне грудь. Сидела она в изголовье кровати на стуле, задумчивая и озабоченная. А я мучился от стыда, что «горлышком маюсь», как проказливый мальчик, переевший мороженого. Неловко и стыдно мне было чего-то, детинушке! Моргаю воспаленными веками, и кровь приливает к лицу. Поленька это почувствовала, улыбнулась и утешать стала:

«Крепкие люди болезнь тяжело переносят. Чуть что, и сварились, раскисли. У меня брат такой. Спортсмен, штангист, а от обычного насморка валится. Но у вас серьезнее дело. Двухстороннее воспаление гланд. Не шутите, могут быть осложнения на сердце».

Сидела она внаклонку, оперев локти себе в колени. Маленькие раковины ее розовых ушей проглядывали сквозь синий газ косынки. В глазах таилась застенчивость, тонкая нежность лежала на чистом красивом лице. Губы она не красила, не подводила ресниц и бровей. Мне были не по душе размалеванные, театральные лица. Молодость без румян свежа.

«Лежите, я буду вас навещать», — Поленька встала. «Спасибо... Скоро поправлюсь. А потом заберусь на Север и привезу вам в подарок медведя с пуговками вместо носа и глаз».

Как чудно она рассмеялась! Белые, ровные зубы ослепительно, влажно сверкнули, и по всему телу разлился особенный, опьяняющий жар.

«Не уходите, — остановил я ее у двери. — Поговорите со мной!».

«Бегу на вызов. Зайду к вам часа через два, хорошо?».

«Буду вас ждать. А чтобы мне не было скучно, подайте, пожалуйста, книгу... вон ту — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Хочу заглянуть там в одно местечко, но вам не скажу, в какое... Вы не читали? Возьмите потом».

За Поленькой тихо прикрылась дверь. Я долго лежал в скованной неподвижности. Затем нашел то место в романе, где капрал Трим рассказывает стеснительному капитану Тоби свои приключения во Фландрии, когда он, будучи раненым, влюбился в одну молодую монахиню и как та исцеляла его. Между описанной сценой и милосердной Поленькой связи не было никакой, но почему-то именно эта картина из мудрого Стерна вспомнилась мне. И, кажется, с этого дня я стал поправляться. Поленька, Стерн, Василиса Васильевна быстро мне помогли избавиться от недуга. Только я думаю и теперь со стыдом: зачем я Поленьке врал, что не болел никогда никакими болезнями, зачем из себя хвастливо разыгрывал молодца с богатырской заставы? Хоть невинная ложь, да напрасная...

Болел я как все нормальные люди. И скарлатиной, и корью, и кровавым поносом. И нарымская малярия трясла меня в детстве каждой весной по несколько раз. И ангина была однажды. И случай тот очень похожий на этот...

Закрываю глаза, задумываюсь... Деревня окружена кедром, а подступы к ней — поля, перелески, спокойные, мягкие картины. От них проливается в душу благостное очарование... В тот день брызгал мелкий

снежок, белое небо и голубые ковры под ним лежали за Томью в нетронутой чистоте. Сосновые боры вдалеке стояли глухие, темные, приваленные все тем же тяжелым снегом. А само Зоркальцево утонуло по окна в сугробах, и было от этого живописным до изумления.

...Соломин знал, куда меня вез. Родня его встретила нас приветливо, шумно. Скорее на стол самовар, усаживать, угощать.

«Нравится?» — спрашивал хитро Соломин.

«Хорошие люди. Сердечная, русская простота и распахнутость».

«К Аннушке присмотришься, золото девушка».

«Смотрю. Тонкая, стройная, застенчивая не в меру, с картавинкой... Милая, в общем. Ты только не сватай меня».

Соломин залился смущением, похрустывал сдобой и молча пил чай, чашка за чашкой.

Пока пили мы чай с Сергеем Никодимычем, мать Аннушки ужин стала готовить, Аннушка сбегала три раза по воду. Морозом и ветерком до пунцовости накалило ее щеки. Она хлопала варежками и говорила, что на улице так хорошо, так гулко кедровые шумят, что стоял бы и слушал вечность.

Мне захотелось пойти в заснеженный бор, я оделся, позвал с собой Аннушку, и мы набродились с ней вволю. Ноги мои были мокры в ботинках от попавшего снега, и я через день почувствовал жжение в горле... И так же, как вот теперь, меня там поили кипяченым молоком со сливочным маслом... И как теперь исходит от Поленьки ее непридуманная доброта, так исходила она от заботливой Аннушки... В дверь постучали, раздумья мои прервались.

«Вам лучше, соседка?» — спрашивала с порога Василиса Васильевна.

«Выздоровливаю... Чем мне потом поблагодарить вас?». «Когда поедете в город Владивосток, разыщите там мою Веточку. Разузнаете у нее все-все да перескажете матери, которая плачет о ней каждую ноченьку».

«Успокойтесь, Василиса Васильевна. Может, у дочери вашей жизнь счастливо сложилась...».

«Вы добрый, вы утешаете. Поленька тоже ко мне вся с душой. А Брюквин рожки показывает, слова паскудные говорит... Насмешник он и грубиян. Зачем обижает? Я в родильном доме служу, младенчиков пеленаю. Нехорошо ему так со мной поступать...».

«Поговорю я с ним, Василиса Васильевна. Пожилой человек, должен бы устыдиться».

«Его устыдишь, как раз! Он совесть-то съел да самогонкой запил. Хуже его нет никого в нашей казарме».

Чтобы отвлечь ее, я спросил:

«Давно вы живете в этой казарме?»

«Да всю почти жизнь... Заговорила я с вами, Максим Егорыч... Печку надо топить. Вот у вас выстыло как, пар видно. Бегу за углем, бегу!»

«Василиса Васильевна, не хлопчите, я сам. Встаю. Налечился, что голова кружится».

«Это от слабости. Вам еще рано ходить. На улице стужа, лежите...»

Поленька будет ругаться. Она славная, добрая, хлопотунья, не огорчайте ее, Максим Егорыч».

...И вошла Поленька, красивая и морозная, с краснобокими яблоками на тарелке.

«Вот она, наша Снегурочка, со снегирями на веточке».

Как неожиданно хорошо получилось это у Василисы Васильевны!».

16

Сицилиан Гостинцын сидел в кабинете один. Заиграев покинул его минуту назад, и смуглое лицо Сицилиана еще хранило на себе след веселой беседы. Но мало-помалу душа его погружалась в холодный мрак. Поджимал срок сдачи в набор работы одного кандидата сельхознаук. Называлась она «Глинистый сапропель» и ожидала редакторской правки. Править ее Сицилиану до горечи не хотелось. Но надо было затягивать туже ремень и впрягаться.

Сицилиан рывком придвинул к себе страницы, запустил пятерню левой руки в свою барашковую шевелюру и выскреб такое обилие пепла, что «Глинистый сапропель» вмиг этим пеплом был засыпан. Шумным выдохом Сицилиан сдунул пепел на край стола, взял «паркер» — подарок поэта — и ринулся в бой.

Металось перо по бумаге и золотым тонким жалом убивало все лишнее, вялое, вздорное. Пустые слова исчезали, а жизнеспособные, нужные становились в строгий логический ряд. Сицилиан в такие часы был похож на черного дятла в красных штанах, который, как видели многие, старательно ищет личинок на стволе дерева.

Слог «Глинистого сапропеля» по твердости мог сравниться с железом, и Сицилиан выкрашивал зубы. Через четыре часа неустанной работы рукопись была пригодна к перепечатке и засылке в набор. Сицилиан отложил «паркер», расслабился. Задребезжал телефон, издатель снял трубку. Незнакомый голос сказал:

— Для вас есть новость.

— Приятная? — встрепенулся душой и телом Сицилиан. — Принят сценарий для хора? Если так, то отлично! Я в этом не сомневался.

— Напрасно. Большие умы всё подвергали сомнению.

— Позвольте... Кто говорит? — Мочка уха от сильно притиснутой трубки стала синеть.

— Насчет сомнения? Теперь многие говорят... Хочу напомнить, что газеты обычно выходят утром...

В трубке щелкнуло и запищало.

Сицилиан был в полном недоумении. Он смутно почувствовал зарождение и приближение бури. Тишина... Сперва ветерок... Потом налетает крепчающий ветер... Рябь переходит в волны, они на глазах вспухают, шипят белыми гребнями... и вот уже катится, подступает девятый вал.

Затор, полоса невезения. Так худо еще не жилось Сицилиану... На днях в газете Шмелев по бревнышку раскатал «Закопёрщиков» Музы Райской. Она приняла это близко к сердцу и неутешна, в слезах. Вот еще новые вышли препоны: Заиграеву ехать в Москву, а стихи тормозят где-

то в последней инстанции. Крупный аванс под договор взять успели, а дальше стоп. Любимая поговорка Сицилиана «Было бы ударено — вспухнет» на сей раз до конца не срабатывала. Удар был давно нанесен, а шишка все не вспухала.

Гостинцын слов не жалел и где только мог расхваливал новый сценарий поэта, возбуждая к нему интерес почти нездоровый. А стихи все равно не пускали...

Звонок неизвестного поднял издателя на дыбы. «Газеты выходят обычно утром». Как это все понимать?

Сицилиан позвонил домой. Жена отвечала, что Вадика нет. Звонок Улыбину тоже не дал результата: он заперся у себя в кабинете и наказал не тревожить его ни по какому поводу.

«Кропает передовицу», — подумал Сицилиан и медленно положил трубку. И тут же схватил ее, стал набирать лихорадочно самый желанный номер.

— Муза? Это Сицилиан... Ты все еще плачешь? Оставь, говорю, и слушай меня.

— Не шуми... Твоя милая женщина вся в черных слезах. Они не дают мне приклеить ресницы и наложить тушь...

— Перестань, ты меня раздражаешь. Пошленькая, завистливая рецензия. Ты автор книги! Думай об этом возвышенно.

— А что теперь делать с колхозной летописью?

— Писать, доводить до кондиции.

— А Лева Хахавский трусит, и я тоже трушу. Как мы будем вывертываться, когда придут и спросят, где наша большая, умная рукопись?..

Муза была в угнетенном, подавленном состоянии. Сицилиан уже пожалел, что набрал ее номер. Можно не спрашивать дальше: она ничего про газету не знает.

— До вечера. Выпей снотворного и усни...

И только нажал он длинным когтистым пальцем на рычажок, чтобы еще и еще набирать номера разным лицам в разных концах города, как телефон опять зазвонил. Тот же голос, прерываемый изредка паузами, ласково произнес:

— Забеспокоились, милый Сицилиан? То-то, смотрю я, ваш телефончик занят и занят. Справки наводите? Поздно. Давно надо вас из мутной воды на чистую вывести. Читайте завтра в газете справедливейший фельетон «Пристипома с бородой», или «Сириус». Можно наоборот. От перестановки названий смысл в данном случае не меняется.

— Шмелев, это вы! — вскочил Сицилиан. — Вы в трубку зеваете... трубка на том конце провода тотчас упала... Сицилиан опустил свою и скорбно сказал:

— О, муза, я у двери гроба!

Не исключено, что он имел в виду Музу Райскую...

17

Разбитый медведем улей не гудит так, как загудели наутро Заиграев, Гостинцын, Муза и многочисленные друзья их.

Издатель города Славска с такой стремительностью носился по улицам, что будто бы его видели одновременно и в центре, и на окраинах. Однако это могло показаться только хромым (для них все быстро ходят) и пьяным (у тех двоится и даже троится).

Бегодня по приятелям, по разным влиятельным лицам, которые обещали ему поддержку и на которую он теперь мало надеялся, все эти чертовы хлопоты утомили Сицилиана. Как ни сильна иная машина, а выгорит в ней запас горючего — она почихает, покашляет и остановится. Так же случилось и с ним, неугомонным Сицилианом. Запас энергии был в нем страшно велик, но иссяк, и Сицилиан, противный себе самому до жалости, придя домой, повалился, как сноп, на диван и уснул. Жена не могла его разбудить, чтобы раздеть и положить поудобнее. Он так и проспал до утра в парадном своем облачении...

Проснулся, охваченный незнакомым ему, тягучим покоем. Такой покой наступает у человека часа через два, как удалят больной зуб, исчезает мучение, а точка боли еще остается, живет. В голове стучало, гудело, точно там была пустота, которую чем-то старались заполнить, от чего и возникал этот давящий шум. Сицилиан вспомнил, что с ним было так же однажды, когда он угорал в бане.

Надо было продолжить вчерашние действия, и Сицилиан направил стопы к редакции. Мягко, по каменным красным ступеням, он поднялся на третий этаж. Снизу сюда доносился гул типографии. Сердце сдавило. Неужели его отлучат теперь от шума ротационных машин, от линотипов, от запаха краски — от всего, чем он жил и кормился, чем кормились и жили его друзья? Неужели? Необходимо опровержение. Необходим разговор с Улыбиным...

В коридоре Сицилиан столкнулся нос к носу с Погонышевым. Разминуться им так просто было нельзя: взгляды их встретились, подобно скрещенным шпагам.

— Руки я тебе не подам, и даже ноги! — сказал Сицилиан.

— Было бы странно, если бы мы с вами стали ногами здороваться, — хладнокровно ответил Погонышев.

— Вы оскорбили талант и мните себя наверху блаженства? — вопрошал издатель.

— У нас было время приписок в сельском хозяйстве, и люди, повинные в этом, платились жизнью за обман. Нечто подобное припискам вы допускаете в литературе, Сицилиан.

— Скажите, какой государственный человек! — хлопнул себя по ляжке Гостинцын. — Вы страдаете недомыслием. Высокая лира поэта не тронула вашей души. Вы позавидовали блестящей сатире Вадима.

— Он прошел мимо событий. Где труд земледельца и заводского рабочего? Где героизм горожан в борьбе со стихией? Где вообще наше славное время? — Бледность покрыла лицо Погонышева.

— Глухой, глухой, — махал на него руками Сицилиан. — Дух настоящей поэзии вам недоступен!

— Какой это дух, когда от него омерзительно пахнет!

Сицилиан задохнулся. Он не помнил, как оставил Погонышева и

очутился в приемной Улыбина. Сима испуганной птичкой порхнула навстречу.

— Что там творится — ужас, — проговорила шепотом Сима. — Или он убьет Заиграева, или Заиграев его. Идите туда, разлейте водой...

Но Сицилиан стоял у порога, опустив голову. Он думал со злобой о своем друге-поэте: «Не дипломат. Дурак! Все дело испортил, подлец. Теперь объяснений не миновать на красном ковре».

18

Да, это было неотвратимо и произошло в точно назначенный день и час. К старинному зданию Сицилиан Гостинцын подходил шагами большого ишиасом.

Ковер в кабинете, где предстояло ему дрожать и выслушивать суд правый, был чистый, сухой, топорщился мягким ворсом, готовый принять еще одни покаянные слезы. Сколько он их уже принял, впитал, соленых и горьких! Имей душу и сердце, имей язык, этот старый персидский ковер мог бы поведать многое...

Все места были заняты. Согбенно вошедшему Сицилиану принесли дополнительный стул. Он принял его и задвинулся в угол, но куда он мог скрыться от пристальных глаз?.. «Погонышев смотрит глазами гюрзы. Я оскорбил его. Пусть! Улыбин сердит на Вадима. Вадим уехал вчера. Улыбин, конечно, считает, что поэта натравил на него я. Сегодня он будет мне кости перемывать. Испортил Вадим обедню! Я Улыбину так бы сказал: ты пишешь пьесы, и тебе надо пьесы ставить. Есть режиссер, который за это возьмется. Да, хотел бы я видеть, как бы он стал назад отрабатывать... Смотрит самодовольно, лукаво. Польщен вниманием к его газете... И эти здесь! Шмелев. Зевать бы ему и не прозеваться! Новенький этот. Сараев... Наприглашали...».

Вопрос был первый ко всем: кто читал стихи для народного хора, сочиненные на договорных началах московским поэтом Заиграевым? Большинство подняло руки. Знакомы ли с выступлением газеты по этому поводу? Были знакомы все.

Теперь обратились к сидящим высказаться по существу вопроса. Высказывались. Речь повели о понятиях очень простых: рубль добывается честным трудом, это единственный путь. Все остальные пути добывания средств преступны. Знал ли о том Гостинцын? Еще бы не знать! Но брак допустим, от брака никто не застрахован ни на заводе, ни в кабинете конструктора, ни в поэтическом цехе. Поймали на слове Сицилиана: значит, поэт Заиграев брак сотворил, а не высокого смысла стихи для народного хора? Пришлось согласиться, хотя Сицилиан вчера и позавчера, и еще много раньше, доказывал всюду обратное. Тогда подытожили: брак нигде не оплачивают, будь то плохо сшитые сапоги или вспаханное с огрехами поле. Поэзия, в данном случае, исключения не составляет. Гостинцын в этом отчет себе отдавал, но преступал сознательно.

Вспомнили, как начинал Заиграев и как «помогал» ему Сицилиан. Славск не забыл, что первые шаги к музе у Заиграева были робки и осторожны, как шаги ступающего на хрупкий лед. Три скромных желания

лелеял поэт: выпустить книжку, купить моторную лодку и жениться на ласковой девушке. Лодку он не купил, но книжка на свет появилась, и он женился. Молодые нашли себе крохотный угол в одном неустроенном доме и были, похоже, счастливы. В положенный срок родился у них ребенок. Отец ликовал, а Гостинцыну это не нравилось. Он начал чадить, как залитая водой головня.

«Обабился, заест тебя быт, зарастешь тиной. Восстань! Автор «Конька-Горбунка» в быту заживо умер. Ты — талант, а таланту необходим выход, как вулканической лаве. Бросай костыли и выступай на дорогу времени!».

И подействовал. Стал Заиграев приглядываться и увидел, что жена после родов совсем подурнела, синегубая ходит, растрепанная, потолок в доме низкий, из щелей дует, под полом мыши скребутся. Невыносимо...

В день, когда вышел второй стихотворный сборник Вадима, он собрался, оставил жену и сына, долго метался по славской земле в поисках радости, находил и терял эту радость, опять находил и снова терял, пока не обрел ее окончательно в шумной столице, в квартире одной вдовы, о возрасте которой поэт говорить стеснялся...

Много воды с гор утекло в долины, много раз выпадали снега и таяли, а лира поэта все дребезжит, все издает неверные звуки.

Сараев, слушая все эти речи, не желал сидеть молчуном. Он коротко выразил светлую мысль о том, что литературе служить надо честно, суеруких там быть не должно.

Сицилиан ни на кого не глядел. Глаза его помутнели от влаги. И тогда поднялся один влиятельный в городе человек и сказал:

— Долгие годы он шел вместе с нами по верной дороге. Потом он свернул, пошел без дороги, без нас. Он ошибся, он понял и стоит вот теперь на распутье. Друзья, скажем ему: Сицилиан, не поздно еще вернуться тебе на то место, где ты оставил нас и побрел без дороги! Вернись, одолей отставание и шагай опять с нами.

Он согласно кивал продолговатой кудрявой головой и думал:

«Замереть, не дышать, работать. Выговор — не приговор. Нет больше ни жестов, ни слов, ни речей. Где споткнулся, оттуда и начинай восхождение. Тихо живи, незаметно, в трудах. Как это просто! И как это сложно! Только считают, что надо не улыбаться, чтобы не показать зубов. Ты и не хочешь их показать, а они вдруг возьмут да сами покажутся! Что делать тогда? Страшно...».

На него навалилась душевная боль, почти физическая. Все это время он не мог выбросить из головы одну большую тревогу: как выбраться еще из одного скандала, который может вот-вот разразиться?

Мысли об этом и боль отступили: Сицилиана просили держать покаянную речь...

(Окончание следует)

Вениамин КОЛЫХАЛОВ

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вениамину Колыхалову желаю писать стихи для детей.

Агния Барто, Москва, 1970 г.

ПОБЕГ

Тучка-тягучка
Над дачей плывет.
Прыгает Жучка
У новых ворот.
Жучка на тучке,
Ликует: ур-ра!
– Что за отлучка?! –
Кричит конура.
– Так надоела
Служба собачья!
Что мне за дело
Какая-то дача!
Стоят хоромы
Один миллион.
Нужен у дома
Не я, а ОМОН.

ОБЛОМ

Предлагает кот мышам:
– Поготорим по душам.
– Широка душа кота,
Если нами не сыта.
У такого хитреца
Нет надежного словца.
Разберем по винтику
Мы твою политику.

КРАСНОПЕРЫЙ ГЕРОЙ

– Я беспомощный цыпленок,
Только вылез из пеленок.
Захихикала лиса :
– Биография-то вся?
Слезы лить не норови,
Маму писком подзови.
Будешь ты ее связной,
Надо список послужной.
Сколько вас всего на свете,
Где сидят другие дети.
Долбанул петух лису:
– Хочешь, список принесу?
– Петя, рыженький задира,
Мы не будем жить без мира.
Вид понравился птенца –
Весь в папашу-молодца.

ЛУННЫЙ ЗОВ

Над Сибирью дело было:
От тоски луна завыла.
Удивилась стая волчья
Чудесам морозной ночи.
– Там живут, – ходили толки, –
Не лунатики, а волки.
Говорят другие волки:
– Появилась тень двустволки...
– Вон и ярочка видна...
– Наше логово – Луна...
– Посетить долину нужно...
И завыли громко, дружно.

КОРОТКИЙ ЗАБЕГ

Ветер тучи зажал,
Не давая воли.
Быстро дождь пробежал
И упал на поле.
Солнце вдруг рассмешил
Торопыга строгий.
Ты куда так спешил,
Длинноногий?

МЕДОВАЯ ДАНЬ

И сегодня, и вчера
Собирала дань пчела.
На цветке, как во дворце,
Носик остренький в пыльце.
– Я пчела бедовая,
Дань моя – медовая.

ГДЕ ПРОПУСК?

Гром наладил колесницу,
Стал по небесам носиться.
Радуга над полем ржи:
– Ну-ка пропуск покажи!

НА КУХНЕ

У Алеши щеки в тесте.
Чистит луковицу сын.
– Лук, давай поплачем вместе.
– Нет, не буду, плачь один.

ХВОСТАТАЯ ПАНАМА

На траве лежит панама –
Облюбована котом.
Дочка:
– Посмотри-ка, мама,
Шляпа синяя с хвостом.
Невидимкой стал ты, Васька.
Хитрый мышеед, вылазь-ка.

УДАРНАЯ СЛУЖБА

Говорит порогу гвоздь:
– Я хозяин, а не гость.
Шляпу сроду не снимаю.
Дрожь стальную унимаю.
Станет тот моим братком,
Кто предстанет молотком.
Будет служба парная –
Самая ударная.

ЦВЕТНАЯ БЫЛЬ

Ветер северный летает,
Краски осени считает.
Вот произведет учет –
Быль цветная потечет.

Виктор АРНАУТОВ

ОДИНОЖДЫ ОДИН – ПРИЕХАЛ ГРАЖДАНИН...

-1-

— Как там дружок мой Толя Кичигин поживает? — интересуюсь я у мамы в очередной её приезд к нам в гости.

— Ё-моё-то? А чё ему сделается? Шоферит... Ходит — морда красная, как у того Мишки после бани...

— Рыбачит хоть?

— Рыбачит, — утвердительно кивает мне мама. — Зимой и летом рыбачит. Ходит к омутам, Большому да Маленькому. Там у него сети стоят или фитили какие... А который раз с удочкой мимо пройдёт. Поздоровается. Когда и мне рыбки занесёт, ну, налью ему стопку-другую... Попивать стал. И плаксивым кого-то сделался. Как выпьет — и так-то не поймёшь, который раз, об чём говорит, а тут и подавно... То смеётся, то плачет... «Витька-Витька-Витька, берёзы-берёзы-берёзы...», — буробит, ничё понять не можем. И чё ему эти берёзы дались? Ты случайно не знашь?

— Нет, — пожимаю я недоуменно плечами.

Давным-давно разминулись у нас с Толькой стёжки-дорожки. Ещё в нашем детстве, и дважды. Разъезжаться тогда стал наш Краснояр, с самого конца пятидесятых годов. Больше половины моих дружков уехали с родителями кто куда: Толька, Серёжка Димитровы, Кузя Попов — под Омском, в зверосовхозе «Речном», обосновались, Петька Беков — в Пудине оказался. Даже Валерка-Хом с Шуриком Птицыным и те — поближе к Пудину. На глазах прямо хирел Краснояр, некогда и впрямь красивый.

Вот и Толькина семья на Дальний Восток подалась, на неведомой и загадочной для меня станции Бира поселилась. Оттуда Толька слал мне свои письма, рассказывая в них про ловлю невиданной краснопёрки, про новых друзей своих да забавы.

Уже взрослым, в городе, спустя лет тридцать-сорок, в часы бессонницы, я не раз начинал оживлять в памяти свой Краснояр второй половины 50-х годов. Напрягаясь, вспоминал: кто и где жил, восстанавливал дома и улицы, школу, наполняя их ребячьим гамом. Дворов пятьдесят с лишком насчитывал. И ребятни послевоенной — моих ровесников, презрительно получалось. Ну, там: плюс-минус два-три года к моим летам — десятков пять-шесть и набиралось.

Года три прожили Кичигины на Востоке, вернулись назад, уже не в Краснояр — Калиновку. Толька вытянулся под палящим дальневосточным солнышком, как молоденькая лиственничка в палисаднике деда Бо-

женки — до невероятности, всех сверстников своих обошёл, по меньшей мере, на целую голову. Дядей Стёпой стали его дразнить, но он не обижался за такое прозвище. Тормознулся он там в каком-то классе, после возвращения уже учились мы с ним на разных школьных ступеньках. Играть играли, общаться общались и рыбачили, случалось, вместе, но уже той доверчивой детской откровенности, непосредственности и тяги друг к другу не было.

В другой раз разминулись наши пути-дорожки, когда он подался в ПТУ, не то в Колпашево, не то в Парабель — на шофёра учиться, а после и в армию угодил. Ну, а я после окончания института в городе закорился, на Родину малую лишь редким гостем навещался. Встречались с Толей который раз, в гости к нему заходил, уже женатому и сыновьями обогатившемуся. Общим оставались лишь воспоминания детства...

Вот и в последний мой приезд, когда мы все съехались в марте к маме на юбилей, в Калиновку, Толя прибежал наутро. Морозец за двадцать клубился паром из открываемых дверей. Валенки свои Толя ещё в холодных сенях сбросил, босиком закатился в избу, едва не касаясь головой потолка. Уже подшофе. Затараторил что-то скороговоркой, обниматься к нам с братом кинулся. А мы-то с Володей уже на Чузик наладились, хотя бы часочка два-три до обеда посидеть с удочками у лунок, да ершишек с пескарями подёргать на тонкую леску.

— Ё-моё! Витька! Приехали!... — бухтел Толя, будто в рот ему натолкали мелких камушков, посмеивался, удивлялся. — Чё седой-то такой весь? Ё-моё... И лы-ы-сый...

Много ли с пьяным поговоришь, если сам ещё не дошел до такого же состояния? К тому же рыбалка давно уже поджидала нас на всю ещё зимнем Чузике. Едва избавились мы от Толи, выпив за встречу всё же по рюмахе, сбагрили его сестре средней Татьяне, что из Красноярска приехала, — бывшей подруге Толиной жены...

«... Витька-Витька-Витька... Берёзы-берёзы-берёзы...» — крутятся у меня неосознанно слова Толи, его голосом и интонацией, но переданные уже мне мамой.

И тут до меня доходит их смысл. Я даже вздрогнул от неожиданной расшифровки, словно меня током шибануло.

— Мама, а ты знаешь, Толя-то Ё-моё не просто так буробил про берёзы! Это он, видать, от избытка чувств. Просто выразить доходчиво не сумел...

-2-

Как-то не получалось у меня в последнее время побывать на малой Родине летом или хотя бы осенью: то своих дел и забот хватает в эту пору, то в отпуск зимой отправят.

Лет тринадцать, должно быть, уже миновало от последней нашей встречи с Красноярром. Да и в тот раз подгадал не по погоде. Раздожжилось в конце августа. Дороги все поразмесили, порасквасило. Вода в Чузике поднялась чуть ли не на метр. Рыба и та совсем плохо клевала. На уху-то, на жарёху всё одно лавливал, а вот на хорошие уловы с крупной ры-

бой рассчитывать не приходилось, по крайней мере, в нашей Калиновке. Чтобы подальше, в одиночку куда выбраться, пришлось мне вспомнить велосипед: на мотоцикле зятевом разве что до Первой Николки и можно было доехать или в Пудино сгонять по заляпанной бетонке.

Засобирался я в Краснояр, не так и далеко, всего-то восемь километров каких-то: груздочков пособирать да клюкву разведать на ближней болотинке, за конюшней, что опоясывала озерушку, где мы в детстве ловили безотказных гольянов.

А побывать в Краснояре, да не заскочить хоть на десяток минут на свою бывшую усадьбу или школу — всё одно что не навесить на кладбище отца с бабушкой. Может быть, им это уже и ни к чему, а вот нам... И невольно нутром своим осознаёшь глубинный смысл некогда пугавших и непонятных строк нашего классика:

... Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...»

Вот уж истинно: точнее и не скажешь!

Нынешний Краснояр изменился до неузнаваемости. Мало того, что он абсолютно обезлюдел уже лет двадцать назад, там остались всего лишь три домишка, в которых обосновались пудинские школьные учебные производственные бригады. На время полевых работ. Все дома с огородами порушили, усадьбы распахали, разровняли, превратив в единое безликое поле.

Место своего отчего дома я с трудом определил по двум лишь приметам: картофельному пятаку на бывшем унавоженном пригоне да школе, что стояла напротив. Точнее, даже теперь и не по школе, а тому, что от неё осталось. А осталось совсем немного: густая крапива на пепелище да стройные берёзы по периметру её ограды.

Берёзы эти ещё мы сажали, классе во втором. Как раз с Толей и другими друзьями-однокашниками...

-3-

В ту осень мы снова сели за парты — подновленные, пахнущие краской. Во второй раз уже: я, Гена Ластовко, Толька Димитров, Толя Кичигин, Шурик Птицын, Фока Кубецкий и ещё с десяток наших сверстников. Да четвероклассников, что в другом, параллельном ряду, у Таисии Ильиничны, чуть поменьше нашего. Меня с Толькой Кичигиным за одну парту усадили.

Летом мы всё никак не могли дожидаться: когда же наконец наступит 1 сентября! Так было охота открыть новенькие красочные запашистые учебники! Надеть на себя новенькую школьную форму! А ещё — написать слова и цифры на самых первых страницах чистых тетрадей! И надо было непременно сделать это без клякс и помарок с зачеркиваниями и исправлениями! Покрасивее чтобы, постарательней. И чтобы ни одной пометки красными чернилами учительницы там не оказалось. Кроме оценки, конечно. Пятёрки, или четвёрки хотя бы.

А ещё за лето загородили нам школьную ограду. Штакетником — белым-белым, и пахнущим свежестроганой древесиной. Бо-о-ольшая

получилась школьная ограда! До самой изгороди дома, где жила наша учительница, Таисия Ильинична. Вот где раздолье стало! Только пусто-вато как-то, голо. Не то, что в палисаднике, напротив нашего дома, через дорогу. Там красуются три берёзы со скворечниками. А ещё посажены в цветочных клумбах желтые ноготки, разноцветные метёлки и оранжевые шафранчики. Мама говорила, что это она те берёзы сажала, когда сама училась ещё в этой школе. Ну, не одна, конечно, с другими учениками.

— Ребята, — говорит всем второклашкам после третьего урока Таисия Ильинична. — Сходите домой, покушайте, переоденьтесь и приходите к школе через сорок пять минут с лопатами и вёдрами. Будем благоустраивать нашу ограду.

Нам всем очень интересно: как это благоустраивать?! Что это значит?!

Выпив стакан молока с ломтём ещё горячего хлеба, что испекла бабушка, я, переодевшись в свою обычную одежонку и обувшись в залатанные спереди сапоги, вооружаюсь лопатой и первым прибегаю в школу. Через некоторое время начинают подходить остальные школьники. Из учительской выходит Таисия Ильинична. Останавливается на высоком школьном крылечке и говорит нам:

— Все девочки остаются здесь, будем копать ямки под саженцы. А мальчики пойдут в лес, за берёзками. Большие не выкапывайте, не более двух метров высотой. И выбирайте постройнее. Корни, смотрите, не обрубайте сильно. И чтобы на корнях земля оставалась. Чтобы выкопанная березка в ведре помещалась своими корнями с землёй. А можно и носилки взять с собою. А четвероклассники сегодня будут воду носить из озёрка на поливку. Всем всё понятно?

— Понятно! — хором возбужденно отвечаем мы.

— А осины можно?! А черёмуху? А рябину? — раздаются голоса вразнойбой.

— Нет, — отвечает Таисия Ильинична. — Мы решили, что засадим пока одними берёзками. По периметру ограды.

— По всей ограде?! — удивленно переспрашиваем мы. — Сегодня?!

— Нет. Сегодня, конечно, не сделаем. И завтра тоже. А вот постепенно всё засадим... Вот вырастете вы все, закончите нашу школу, потом пудинскую, разъедете кто куда. Кто-то шофёром станет, кто-то учителем или врачом, кто-то лётчиком или ученым... А память о вас останется... Вот эти самые березки, что мы здесь посадим...

Мы похохатываем над словами учительницы: вырастем, станем лётчиками да врачами... Ничего себе! Когда это ещё будет-то?!

— Это чё, только одни мы, что ли, садить будем? А первачи с третьеклашками? — резонно задаём мы вопрос своей учительнице.

— Те тоже будут сажать. Только мы с одной стороны, которая от улицы, а они — с другой, где озёрко... Смотрите, далеко не ходите. За мельницу ступайте. Но не дальше Воробьёва мостика или Афонькиного запора... А то тяжело нести будет оттуда...

Нам всем очень весело! Мы, резвясь и толкаясь, с лопатами на плечах и вёдрами в руках шествуем ватагой человек в десять в другой конец улицы, где стоит мельница. И уже за дегтекуркой начинаем высматривать берёзки.

— Давайте, будем выкапывать и оставлять их пока, а потом на обратном пути их заберём, — само собой рождается рационализаторское предложение.

Так мы доходим поляной до самого березняка, что перед Афонкиным забором. По ходу, на полянке, мы оставляем лопатами «автографы»: то звезду пятиконечную вырежем на желтеющем травянистом дёрне, то свои инициалы.

Кубецкие, Фока с Еней, — те без пакостей не могут обойтись: вырезали лопатами: Р + С = Л!

Мы-то все поняли, кого они имели ввиду. Об этом вся деревня знает, и мы, школьники, тоже. Р — это вторая молодая учительница с дочкой-первоклашкой, что живут в школьной учительской. А С — это фамилия новосёла, что остался один из всех приехавших к нам, в Краснояр из Томска, ещё зимой. Этот самый С то и похаживает к молодой незамужней учительке. Ну, а = Л! — и первоклашке известно, не то что нам! Считалочку-то кто ж не знает:

Одиножды один — приехал гражданин,
Одиножды два — пришла его жена,
Одиножды три — в комнату зашли,
Одиножды четыре — огонь потушили,
Одиножды пять — легли на кровать...

Примерно часа через полтора мы возвращаемся с ношей. Берёзки, казавшиеся поначалу такими лёгкими, так оттягивают нам плечи, что мы изгибаемся от тяжести, меняем руки и частенько останавливаемся передохнуть.

Только Кичигин додумался перекинуть березку корнями с дёрном, через плечо. Весь изгваздался чернозёмом. Достанется ему дома от матери! Принесли, наконец-то, запыхавшиеся.

А там уже аккуратно, метра через три, ровненько ямки накопаны, а рядом с ними холмики свежей черной земли выделяются.

Десять первых жиденьких берёзочек, с начинающими уже желтеть листиками, появились в нашей школьной ограде.

И пошло. Три урока отучимся — идем в лес за березками. Каждый день. Уже и надоедать стало. Зато с каждым днём всё больше и больше прибавлялось деревец-саженцев. Уже и второй ряд стал заполняться. Даже красиво получалось. И ещё — осознание и гордость за то, что работу эту мы выполнили сами!

А весной деревца те зазеленели. Не все, правда. Но на места засохших следующей осенью новые посадили. За два года, что я ещё учился в той школе, деревца основательно окрепли и стали вытягиваться, как подростки-семиклассники, хорошея с каждым летом.

Берёзы школьные выросли, как и покинувшие школу ученики. И ведь верно предсказывала нам некогда учительница: ученики поразлетелись кто куда, а берёзки остались на месте.

Нынешние берёзы расхорошелись, расправили свои просторные зелёные сарафаны, почти полностью скрывая стыдливые белые девичьи станы. Должно быть, повыше уже и самой школьной крыши поднялись их верхушки. Только вот где теперь та отметина школьной крыши? И у оснований своих, где крона спускается густыми ветками почти на метр к земле, разбоченились, сантиметров по тридцать в диаметре, если не более. Далеко видно их зелёное двухшеренговое каре!

Да только будто кто проредил те самые шеренги. Я подошел поближе. И взору моему предстала грустная картина. Местами щербатинами зияли оставшиеся лишь метровые пеньки. Иные уже почерневшие и трухлявые, другие — со свежими желтоватыми следами безжалостного топора. У меня защемило в груди, а на глаза навернулись непрошенные слёзы.

«Это кому же они тут помешали?! У кого руки поднялись на них?! Неужто на дрова пошли? Так вокруг таких дровяных деревьев пруд пруди, в полукилометре всего-то... Вот же пакостники! И кто?! Неужто нынешние школьники-механизаторы?! Да неужели им непонятно, что берёзы эти не сами по себе тут выросли ровными двумя рядами?! Ведь это такой же акт вандализма, как и порушить на могилах памятники, сдав в металлолом никелированные оградки или медные пластины-барельефы! Господи, и куда же катимся мы?.. Почему так очерствели-то все?..»

В горьких размышлениях я удалялся от тех, оставшихся ещё в живых, берёз. «Эти бы хоть сохранить как-то...». Прошелся поляной до Шаманской горы. Внизу, справа, едва поблескивало водой совсем крохотное, зарастающее школьное озёрко. Тут мы начинали купаться голышом, едва сходил лёд, тут же и гольяшков ловить учились. Отсюда и воду таскали на поливку наших берёзок.

А ниже горы и севернее озёрка, на скошенной поляне, стояла большая скирда сена, смётанная на берёзовой волокуше. И тут до меня дошло. Да ведь это же на той самой берёзе, нашей берёзе, из школьной ограды!...

Вернувшись в Калиновку, в проулке я повстречал Толю-Ё-моё.

— Толя, ты в Краснояре бываешь? — задал я ему вопрос.

— Витька! Ё-моё! Ты чё, в Краснояре ездил?!

— Ездил, — мрачновато ответил я. — На месте нашей школы побывал. Ты видел, что там натворили?!

— А чё там, ё-моё?!

— Берёзы-то наши помнишь?

— А-а, берёзы, ё-моё... Мы же их в детстве садили... С Афонькина запора таскали на носилках да в ведрах... Целу осень, ё-моё...

— Вот-вот... Рубят их теперь на волокуши. Ты видел?

— Знаю, ё-моё... — потупив глаза, ответил Толя.

— Я-то приезжий теперь, а ты ведь местный. Разберись со школьниками, наведи порядок...

— Да не школьники это вовсе...

— А кто же тогда?

— Косари, ё-моё... Наши, калиновские...

— Ну, так ты бы хоть поговорил с ними, пристыдил, что ли...

— Кого, их?!— Толя кивнул на дома, белеющие новизной своих стен из кедра. — Ты в Конской поскотине-то бывал, ё-моё... Видел, чё там натворили? Все кедры почти порешили, ё-моё... Скоро шишки ребятишкам поблизости сбить будет совсем негде...

— Что, и управы на них никакой нету?

— Да какая теперь тут управа, ё-моё?! Живём все, будто одним днём. Про детей своих и то не думаем... А ты мне про какие-то берёзы, ё-моё...

— Толя, это не какие-то берёзы! Это ведь частичка нас самих, нашего детства...

— Ладно, ё-моё... Разберёмся... Поговорю... — махнул виновато рукой Толя. — Приходи-ка лучше вечером в гости, ё-моё. Язями тебя угощу со щучиной. А хочешь — так карасями солёными...

— Мама, я понял, про какие берёзы Толя-Ё-моё толмачил... Это про те, что в Краснояре растут. Ну, в школьной ограде. Мы их с Толей вместе ещё в детстве сажали. Но их стали на волокуши тракторные рубить. Вот я Толе и наказывал, чтобы он разобрался там со своими...

— А-а-а-а... Ну, вот теперь и мне понятно стало, — включается мама. — А то всё: «Витька-Витька-Витька... Берёзы-берёзы-берёзы...» А мы-то думаем-гадаем, про какие берёзы он нам талдычит-то всё время...

— Осталось хоть немного ещё там? — спрашиваю я маму, имея в виду всё те же школьные берёзы.

— Не знаю, — мрачновато ответила мама. — Давно уже там не бываю... Вот приедешь, сам и поглядишь...

Сергей ДАНИЛОВ

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

К половине десятого утра из кухни по всей квартире распространился запах сладкого пирога с ванилью.

Иван Петрович включил телевизор, прошелся по комнате, размышляя над тем, с чего бы начать разборку ненужных вещей – давно уже руки чесались вынести весь хлам вон, оставив только самое-самое необходимое для жизни.

«Чем пять лет не пользовался – выброшу подчистую», – дал себе зарок, открывая дверь в кладовку-темнушку, до отказа набитую какими-то ветхими коробками, облезлыми чемоданами, свернутыми в трубы старыми паласами.

Вся двухкомнатная квартира явилась ему сейчас складом ненужных вещей, настолько тесным, пыльным и затхлым, что ни повернуться, ни вздохнуть здесь толком нельзя, в то время как он с утра, напротив, ощущает острую потребность в просторе, свежем воздухе, чистоте.

Аромат свежееиспеченного пирога перебил критический настрой.

Пирог пекла Дуняша – пенсионерка, живущая этажом ниже, по старинному семейному рецепту, которым с ней давным-давно поделилась жена Ивана Петровича, ныне покойная Силиция Матвеевна.

Аромат из дуняшиной кухни по вентиляции попадал прямо к нему, так как Иван Петрович за состоянием своей части воздуховода следил, регулярно снимал решетку и чистил, докуда рука доставала, а вот соседи выше явно ленились.

Одновременно с мыслью о неисправной вентиляции запах пирога легко перенес его в прошлые времена, возродив смутную надежду, что выйдет из кухни жена, сядут они за стол да начнут пить чай, глядя по телевизору свою любимую передачу «Пока все дома».

Супруга приказала долго жить более года назад. Платья, пальто, плащи, кофточки с жакетами по-прежнему висели на плечиках в двух шифоньерах и тоже требовали разборки.

«Лучше на кладбище сегодня съезжу», – решил Иван Петрович.

Глянул в окно.

Погода на улице отвратная, сумрачно-мартовская: повсеместно раскисла снеговая каша, не дающая ни людям прохода, ни машинам проезда. Голые ветви тополей и кленов гнутся в порывах ветра, из низких туч то сеется мелкий дождичек, то снежную крупу пуляет густыми зарядами. Осевшие сугробы исходят грязной жижей.

Гололедица страшная. Поскользнешься, упадешь, и, пожалуйста, – перелом обеспечен, а ухаживать, между прочим, некому.

Нет, рисковать не стоит. Пусть распогодится, каша стает, асфальт подсохнет на солнышке. Тогда. В апреле–мае, на родительский день.

Кстати говоря, Дуняша не далее как вчера приглашала в гости на пирог. Она всегда зовет на чай, если встречаются у подъезда, но сама, между прочим, ни разу не наведальась, как прежде-то, при Силиции Матвеевне.

Когда Силиция Матвеевна внезапно приказала долго жить – вечером легла спать, даже не кашлянула, а утром не проснулась, – Иван Пе-

трович гостеприимство слегка ограничил. Здороваются, и вполне, знаете ли, достаточно. Это женщины были в приятельских отношениях, а он с боку припека.

Одиночество приятнее разговоров, для общения ему телевизора вполне хватает. Впрочем не выключишь – все уши прожужжит.

Так что звать на чай Дуняша зовет, но сама ни-ни. Понимающая женщина.

Ощущая легкое разочарование от досужего начала воскресного дня, ранней усталости во всем теле, будто много-много уже потрудился, Сабельников с чаем решил повременить. Телевизор можно смотреть не в зале, а на кровати в спальне, где пылится с доисторических пор черно-белый телевизор «Рекорд», очень удобно расположенный в ногах, на полке, – лежи и смотри.

Он закрыл кладовку, прошел в спальню, тяжело усевшись на свою постель, причем стукнулся о чемодан под кроватью. Критический настрой против старья возродился в прежних размерах: пора, пора настала расстаться с хламом. Сколько можно терпеть?

Куда ему два шифоньера, битком набитых шмотками? Еще распашонки детские хранятся! Жена любила достать вечером, на сон грядущий, и восхититься: смотри, какие маленькие детки были, будто для кукол сшито! Согласен, были, и что? Теперь-то вона вымахали, давно живут отдельно, в других городах, так своею жизнью поглощенные, что забывают поздравить отца с днем рождения. Через неделю опомнятся, звонят, смеются: пятый день пьем твое здоровье! И он смеется, только распашонки к чему сорок лет хранить?

А чемоданы под кроватями? Как в студенческом общежитии, стыдоба!

Кряхтя от натуги, выволок за перемотанную проволокой ручку фибровой чемоданище с металлическими уголками, доверху набитый фотографиями начала их с женой совместной семейной жизни. Еще где-то один подобный в кладовке пылится, с продолжением семейной жизни. О, господи! Сколько хлопот и себе, и людям!

По молодости лет Иван Петрович очень увлекался фотографией, но высот в этом деле не достиг, беря не качеством, а количеством произведенных снимков. Ему тогда почему-то казалось, что впоследствии снимки эти будут кому-то чрезвычайно интересны. Вот, допустим, придут к ним лет через десять-пятнадцать гости, хорошие знакомые, увидят фотографии, сядут и восхитятся от души – тому, какими они были с супругой молодыми, куда ездили, что видели. По вечерам народ будет сидеть за столом – смотреть, рассматривать на сто раз те карточки, где все вместе, вспоминать, громко восторгаться: надо же! Вот люди пожилые! Вот поехали! Все посмотрели!

Полагал он также, что дети с внуками тоже, небось, будут просить ежевечерне рассказывать им историю каждой карточки, а там, глядишь, и правнуки подключатся к изучению достославной эпопеи, как замечательно и увлекательно жили их предтечи. Самим тоже весьма любопытно, знаете ли, на старости лет поворошить на досуге годы молодые. А, Силиция Матвеевна?

Он наивно представлял старость, будто человек остается прежним, и лишь работать ему не надо будет, выйдет по годам на пенсию, и можно сидеть дома за столом сколько влезет, чай попивать с плюшками, фотографии разбирать, наслаждаться необыкновенными видами: вот они с

женой и группой товарищей в Евпатории на экскурсии, вот в Туапсе меж настоящих пальм. Глядите! Каспийское море! Да умереть можно от восторга!

Ни единому человеку сегодня не нужны эти чемоданы фотографий. Ни ему самому, ни знакомым. Лет сто не открывал. Когда дети приезжают в отпуск на недельку раз в год, – везут во множестве свои собственные, цветные, действительно красивые карточки, дарят их в огромных количествах, уже вставленные в удобные альбомы.

Во времена его молодости альбомы являлись великим дефицитом, посему напечатанные фотографии до сих пор хранятся в черных конвертах из-под фотобумаги, набитые плотно-плотно, там слежались, загнув края.

Этими толстыми пачками, будто деньгами, чемодан набит сверху донизу: ряд за рядом, слой за слоем. Что делать с сотнями и тысячами никому не нужных фотографий? С изображенными на них неизвестными людьми? Кому интересны компании пляжных отдыхающих, экскурсии, волейбольные и футбольные команды?

Одно только, пожалуй, ему и остается: выбросить к черту. Оставить с каждой пачки по фотке и хватит. Куда копили? На какой черный день? Или все-таки история? В музей какой-нибудь исторический сдать на вечное хранение, или архив, лет-то прилично прошло, почти сорок. Да нет, не примут, чего бы доброго. Выбрасывать в мусорку без сомнений! Но грусть-тоска заест. Будто собственную жизнь выкинешь. Только где она, жизнь? Все, прошла, нет ее. Ладно, пусть дети после него сами выбросят. Их наследство.

Любительские, желтеющие фото на бумаге неважнецкого советского качества летят на пол, а сколько сил расстрачено было впустую на проявление пленки, бумаги! Теперь не сосчитать. Все эти растворы, проявители-закрепители, а возни, а денег, а нервов расфуфырил!

Иван Петрович доставал из чемодана пачку за пачкой, вытаскивал из конвертов плотно слежавшиеся, местами склеившиеся глянецом фотографии, придирчиво всматривался сквозь очки, разыскивая среди чужих лиц себя и жену. Найдя, фыркал, небрежно кидал на пол, брал следующую.

Повсюду они снимались среди людей, в забытых ныне компаниях, и когда поодиночке или вдвоем оказываются, все равно чувствуется, что совсем рядом бурлит посторонняя людская масса, лишь случайно выпавшая из кадра. Никаких других ощущений, кроме неловкости, глядя на эти фото, сейчас у Ивана Петровича не возникает. Бессмысленная натужная радость на лицах: вон как нам хорошо живется, посмотрите! Вот какие мы здоровые, счастливые и веселые! Как будто специально для кого-то улыбаются, будто доказать кому-то хотят, что у них все в порядке.

Тогда думалось: это мгновение важно, его надо зафиксировать, запечатлеть, из него, в том числе, состоит наша великая история, а теперь, спустя годы смотришь и думаешь: кто это? Что за люди? С кем я здесь перемигиваюсь? Где мы были? А не все ли равно? Конечно, поехали в молодости с женой на славу, возражений нет.

Жену он любил.

До свадьбы – месяца два, трепетно и нежно, на расстоянии, как некое необыкновенное волшебное существо, специально для него созданное, которое может и должно осчастливить его жизнь навсегда, до самого конца.

И после свадьбы недели три-четыре, еще надеясь на что-то, но с каждым днем меньше, пока окончательно и бесповоротно не пришел к выводу: увы, брак не то чудо, которого ждал почти два года, начиная с того самого дня, когда сидел однажды дома и готовился к экзамену по оптике.

Дело было на первом курсе, в летнюю сессию.

Вокруг по комнате и на полу, и на столе, и на подоконнике разложены листы. Несколько открытых книг задумчиво перебирали туда-сюда страницы, благодаря легчайшим перемещениям воздуха в комнате.

К тому дню он уже немного отставал от своего плана подготовки, поэтому с раннего утра сидел, читал не отрываясь.

Будто специально для экспериментального подтверждения основных законов оптики комната оказалась насыщенной яркими световыми эффектами.

Солнечные лучи попадают сюда разными геометрическими путями, в том числе, отражаясь от чисто вымытых прозрачайших стекол раскрытых окон, которые иногда вдруг начинают сами собой плавно двигаться, а белые солнечные зайчики вслед им мечутся из одного угла в другой, затевая игру, от которой приходится жмуриться. Два зеркала – на подоконнике и на стене, гранями производят разноцветные спектры.

А то вдруг неизвестно с чего взметнется ослепительный вихрь, спастись от которого можно лишь полностью закрыв глаза. Но все равно ему чрезвычайно приятно пребывать в этой комнате, где свежий воздух гуляет легко, как на улице.

Вдруг за дверью, сразу очень близко, слышались незнакомые голоса, мужской и женский. В растворенную дверь постучали и вошли какие-то люди, а он все сидел, не поднимая головы от учебника, ослепленный.

Прихожей в квартире нет, с порога сразу оказываешься в жилой комнате, где сейчас много лучистого света и пахнущего утренней листвою воздуха.

Когда поднял глаза, увидел, что женщина уже вошла, а мужчина выглядывает сзади, поверх ее плеча.

Разговор начала женщина: она искала кого-то, кто жил здесь давно, десять или двадцать лет тому назад, какую-то неизвестную ему семью, называла имена, фамилии мужчин и женщин, вспоминала детей с улыбкой, будто и сейчас видит их всех и является одной из них, скорее всего именно из числа детей. Говорила женщина быстро и горячно, не давая вставить ему ни слова опровержения, будто надеялась, что если доскажет все основное правильно и полностью, то оно, прошлое, вновь материализуется, возникнет в этой лучистой разноцветной комнате снова, заполнит ее бывшим, несомненно счастливым бытием, в котором она существовала здесь в детстве и юности, и тогда произойдет необходимое примирения между ее душой и окружающим.

А сейчас мира нет.

Она высокая, худая, в светлом плаще и косынке, все это быстро рассказывает с улыбкой воспоминаний, а он, удивляясь, не мог определить, сколько ей лет, потому что мужчина из-за седины выглядит старым, в то время оба они явно составляют единое целое, несмотря на всю ее веселую, нежную говорливость.

Незнакомка всматривалась в него с требовательным выражением, будто он тоже был одним из тех, кого она сегодня разыскивает, членом

исчезнувшего семейства, и только в силу каких-то скрытых, потаенных причин не желает в том сознаться. Не отворяет широких объятий, не бросается навстречу с радостным криком, отрицает все напрочь, хотя ничего еще не успел сказать, но все равно поступает не хорошо, не по совести.

Напор ее радости столь велик, что ему пришлось опять зажмуриться, как от попавшего в зрачок луча. Тогда только вымолвил:

– Нет, мы здесь давно живем, с самого начала.

Не обращая внимания на возникшее противоречие, женщина продолжила рассказ про мифических людей, некогда существовавших здесь, вроде бы даже и до самого начала, до построения их дома, и совершенно неважно, что он сейчас сказал ей и что еще может сказать, а важно, что она рассказывает ему о той необыкновенно прекрасной жизни, которая имела место быть здесь, следовательно, именно ему необходимо внимательно слушать, потому что только это и есть святая правда-истина.

И он слушал.

Зато мужчине, уставшему стоять за порогом, очевидно, длительные безуспешные поиски надоели, он бросил раздраженным тоном:

– Ладно, я выйду покурю, пока вы разберетесь.

И зашагал обратно, слегка прикрыв дверь.

Оставшись без мужской поддержки, женщина как ни в чем ни бывало, даже еще быстрее и веселее, повела свой взволнованный рассказ, полный чудесных, живописных деталей, далее, о том, кто как чихал в их семействе, а «собачка Динка в тот год сломала заднюю лапу, потому что попала под проезжий автомобиль, ей наложили шину, но больше носили на руках, переименовав в Хромоножку».

Она сняла с головы косынку, черные волосы рассыпались по плечам. Их оказалось много – густых, обильных. Странно, как умещались под косынкой, и голова при том еще показалась ему сначала слишком маленькой.

Но ей было, по-видимому, уже все равно, что он думает, пристально ее разглядывая. Продолжая бурный рассказ, она расстегнула светлый плащ, пуговицу за пуговицей, сняла его, сунула косынку в рукав, некоторое время держала плащ, а потом, не зная куда деть, опустила прямо на пол, оставшись стоять у дверного косяка, на котором штрихами отмечался рост его и сестры, совсем голая, очень прямо, но уже молча.

В комнате остались обнаженная женщина, он – ошалевший от внезапности, сгустившаяся после ее речей тишина и очень яркий свет, преломленный стеклами распахнутых окон, поверхностями зеркал, играющий на потолке и стенах многочисленными солнечными зайчиками.

Воздушные массы замерли, перестав шевелить страницей учебника. Сделалось жарко. Но дверь по-прежнему слегка приоткрыта, мимо нее кто-то прошел, возможно, соседка.

Площадка второго этажа представляет из себя большую общую кухню, где стоят несколько электрических плит и столов. Вход сюда с лестницы днем всегда открыт настежь. Через окно проник тревожный запах сигаретного дыма, то курил муж женщины, устранившийся от беседы и ожидавший ее окончания во дворе под окнами их квартиры.

«Сейчас дверь распахнется и...».

Женщина стоит прямо перед ним, чуть-чуть прислонясь к стене, но круто отвернув лицо в сторону. Шея заострилась прямой длинной линией-жилой от уха до ключицы. Зайчики смело прыгают через живот и грудь.

«Все настезь, в любое мгновение зайдет муж... вероятно, уже идет сюда... а если запереть – толкнет и все поймет».

Его переживания мгновенно исчезли, когда неизвестная вдруг повернула лицо и глянула в упор.

На скулах, подбородке блестящие заострения, нос небольшой, курносый, глаза ужасающе требовательные.

Многочисленные желания, когда-либо прежде возникавшие во снах и наяву, вспыхнули разом, быстрее зайчика он метнулся к ней, забыв про незапертую дверь, мужа, то ли еще курившего внизу под окном, то ли уже поднимающегося по лестнице на второй этаж, про соседку, готовящую обед у своего кухонного стола недалеко от их двери.

«Да, да, да, да, да...», – понятно вторила женщина, прижатая к стене.

Его лицо оказалось внутри копны черных волос, влажных, а потом и вовсе мокрых, пахнущих другими пространством и временем, теми, о которых она только что рассказывала, и он ощущал, как на голую шею и спину с их кончиков падают горячие капли неизвестной чудесной влаги.

Неожиданно очнулся стоящим перед ней на коленях, обнимая за ноги, а неизвестная уже пыталась застегнуть плащ. Он мешал. Теперь не хотелось, чтобы все закончилось так скоро, хотелось бесконечности.

Мужа по-прежнему нигде не было. И соседка не зашла – у них ведь часто летом входная дверь открыта на площадку, это означает, что дома кто-то есть и квартиру проветривают. Но даже в сквозняке, пролетевшем неожиданным порывом из окна, не чувствовалось присутствия табачного дыма. Может быть, сообразительный пожилой мужчина вовсе не муж, а некий родственник, который очень вовремя сумел понять, что он лишний, и ушел навсегда?

Женщина смотрела сверху вниз. К сожалению, он не смог запомнить тогда ее лица, хотя общее выражение запечатлелось: очень спокойное, не сказать, что чрезмерно радостное, скорее даже засыпающее.

Она все-таки застегнулась и ушла.

А с его памятью что-то стало не так. Мало сказать – не помнил лица, но и несложные оптические законы вылетели из головы напрочь. На замену возникли серьезные проблемы.

Позднее Иван Петрович увлекся средневековой живописью, стал собирать репродукции картин, разыскивая их где только возможно. Бывая проездом в Москве, Ленинграде, он обязательно посещал специализированные художественные магазины, простаивал в них часами, покупая дорогие цветные альбомы. Эрмитаж стал его упоительным прибежищем.

На лицах мадонн Рафаэля и Леонардо да Винчи, особенно кормящих грудью младенцев, присутствовало искомое выражение святой, безмятежной, глубочайшей удовлетворенности, происходившее когда-то и от лица незнакомки, смотрящей на него сверху вниз, волшебной женщины, из-за которой с треском завалил летнюю сессию и чуть не вылетел из института.

В квартире ничего тогда не украли, и он не мог понять, как ни пытался: что же это такое было на самом деле? Может быть, просто уснул, и ему приснилось?

Скорее всего – сон: быстрый, летний, июньский сон уставшего от законов оптики разума приснился про то, что угол падения равен углу отражения.

Однако внутри родилась насущная потребность в продолжении свидения, почти два года с неутомимой надеждой разыскивал он незнакомку, затем женился на Силиции, которая вовсе не желала торопиться и предлагала подождать до окончания института. Силиция изначально была серьезна и разумна.

Впервые увидел ее в мае месяце, когда она прошла мимо по ступеням лестницы здания института, высокая, в косынке и светлом плаще. Надо сказать, он тоже после первого курса, когда чуть-чуть не отчислился, в значительной мере растерял детскую смешливость, сделавшись серьезным, не улыбочным молодым человеком. Внешне они подходили друг другу, и надежда, что с ней ему будет также восхитительно солнечно, как с неизвестной, принявшей его в свои яростные объятия возле входной двери, была велика, порождая сумасшедшие упования о счастье.

После женитьбы, однако, явилось скорое разочарование, но, тем не менее, в глубине души надежда на лучшее будущее оставалась, ей одною только он и жил: ладно, пусть не всякий раз, но, может, хоть иногда будет случаться? Раз в месяц, квартал? Раз в год? Раз в жизнь?

Да, оказалось, раз в жизнь. Но не с женой Силицией Матвеевной, которая ни о чем не догадывалась и очень серчала, когда, по молодости лет он зачем-то вытаскивал ее, испуганную, из недр законной супружеской постели, нес на руках ко входной двери.

Очередная фотокарточка показала ему молодое лицо жены, слегка туманное из-за неверного фокуса и плохой проявки пленки. Умерла, главного про мужа, с которым прожила бок о бок почти сорок лет, не узнав. Рядом его лицо, тоже слегка неясное. Черт знает что. Ведь видел же и тогда, что фотографии плохие, так зачем, спрашивается, хранил? А просто других не было.

Под пачками фотографической бумаги, на дне обнажился старенький альбомчик, принадлежавший жене еще до замужества, семейный, начала пятидесятых годов, фотографии в него не вставляли, но приклеивали насмерть, навсегда.

Иван Петрович открыл с конца, сразу наткнулся на себя, молодого студента в белой рубашке, черных брюках-клевш, серьезного. Жена, еще девушкой, рядом в светлом платье по моде тех лет, тоже серьезная, смотрит без тени улыбки, пока не невеста, даже вопрос не стоял. Сфотографировались вскоре после знакомства, встретились как-то на улице, постояли, поговорили о чем-то неважном да разошлись. У него с собой случайно оказался фотоаппарат – из этой серии снимок.

Он попытался вспомнить, где это было, не смог и продолжил листать альбомчик. Старые дома давно снесли, поди теперь разбери.

Имеется еще один семейный, точно такой же, с тещей и тестем, родственниками, с детскими фотографиями. Тот не стоит выбрасывать, там действительно история. А этот охватывает небольшой период от поступления в институт до третьего курса, и остался наполовину пустым.

Ничего особенного в нем нет, несколько фотографий студенческой группы приклеено, да промежуточное время, где будущая жена Ивана Петровича – хохочущая девушка в военно-морском черном кителе и командирской фуражке. Тогда, после войны, девушки любили рядиться в военные кителя и фотографироваться в них, сестра Лида, кстати, тоже любила. Далее еще карточки с красивым капитан-лейтенантом, Силиция рядом, радостная, и он веселый – на природе гуляют в обнимку.

Теперь Иван Петрович вспомнил, конечно-конечно, жена показывала ему этот альбом в начале их знакомства, да, она дружила с этим моряком, чего не скрывала. Но потом на много лет альбом исчез – положили на дно семейного чемоданного архива и с концом.

Вдруг Сабельников вздрогнул. Узнал на карточке хорошо знакомое загородное место, куда вместе с женой они впоследствии много раз ездили отдыхать. Место нравилось Сицилии. Каждый раз, приезжая, она заставляла его развести маленький костерчик и сидела возле – кидала в пламя сосновые шишки, а он маялся по округе, как неприкаемый.

Когда уже с детьми ездили, стало проще – они обычно играли в футбол на полянке, а она все равно сидела возле костерка и с задумчивым видом кидала сосновые шишки, не обращая на визг, шум и крики ни малейшего внимания. Даже не сердилась.

Вот оно, значит, как: у каждого своя входная дверь с притолокой. Идешь – забудешь, да как шибанешься – о, и вспомнил сразу!

На следующих фотографиях моряка уже не было. Будущая жена выглядела привычно серьезной, такой он ее и застал на третьем курсе, постоянно смотревшей куда-то в даль дальнюю. Иван Петрович перевернул несколько страниц, опять увидел себя: серьезного студента и ее, умную, неулыбчивую студентку. Два сапога пара. Может быть, и она обратила на него внимание при первой встрече из-за матросских брюк-клешей, как он на нее из-за светлого плаща и косынки?

Пенсионер осторожно поднялся, оставив фотографии валяться на полу, перешагнул через них, вышел в прихожую к телефону, набрал номер.

– Доброе утро, Евдокия Капитоновна! Сегодня с утра ваш пирог так вкусно пахнет, что у меня галлюцинации начались. Хочу попроситься в гости на чай. Можно?

– Приходите, Иван Петрович, – обрадовалась Дуняша, – я тут как раз вчера из погреба баночку варенья вишневого принесла, вашего любимого.

Приодевшись в костюм с галстуком и забыв об утренней усталости, пенсионер лихо сбежал вниз по лестнице, а после того весь день сновал туда-сюда на улицу, к мусорным контейнерам, очищая квартиру от временного хлама.

Чемодан с фотографиями отволоч в последнюю очередь, на нем и выдохся. Тяжелый, черт! А ничего не стал оставлять на память, все запищал валом, подержал на прощание в руках старенький девический альбом Сицилии, где и он молодой есть, и симпатичный капитан-лейтенант, но и его сунул вместе с прочим.

Опрокинул в контейнер россыпью, а поверх мусор из ведра кухонного еще дополнительно вынес, не поленился. Пустой чемодан оставил рядом стоять – вдруг кому на что сгодится?

Три старушки на скамейке у подъезда, долго следившие за этой бегомней, переглянулись.

– Разошелся Петрович, – сказала бабка в толстом плюшевом пальто и костылем в руке, – бегают и бегают сегодня, как заводной.

Та, что сидела посередке, в фуфайке, надетой по непогоде, пимах на резиновом ходу, кивнула, взглянув на крайнюю с улыбочкой:

– С утра в гости к Дуняше, говорят, наведался. Такие дела.

– Отошел, – подытожила крайняя и, вздохнув, оглянулась по сторонам, в поисках еще каких-либо изменений, случившихся на дворе за этот длинный, пасмурный, мартовский день.

Андрей Олеар. Оконный блюз. Книга стихотворений. Томск. Издательство Томского университета, 2007. Сборник стихотворений А. Олеара «Оконный блюз» – лауреат городского литературного конкурса «Томская книга» (2007).

Александр КАЗАРКИН

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОРИГИНАЛА

Говорят, ты, дружище, хвалишь новый сборника Андрея Олеара. Ну как же, лауреата премии «Томская книга». Не ты один, и у себя я слышал: каждый образованный человек должен читать эти стихи. Знак приобщённости – прочтут и скажут: «Вот теперь томская литература сравнялась с мировой». А я вот не мог понять: в какой стране и в какую эпоху стихи написаны. В нашем городе, «у врат Нарыма», такие стихи столь же естественны, как араукария в тайге. Должно быть, теплица закамуфлирована.

Почему книжка оценена высоко, это разъясняет автор вступительной статьи. Как и название, всё в ней – с точностью до наоборот. «Подбадривающий блюз» – так Кейс Верхел назвал введение. Стихи-де «подбадривают читателя», ибо несут «дух открытости». А если не подбадривают? Значит не вошёл в элиту, а проще – рылом не вышел. Под «открытостью» тут как раз и понимается элитарность. Читать статью, однако, полезно: тут стандарты литературного истеблишмента. На естественный вопрос почему меланхолия бодрит, К. Верхейл отвечает: потому что это благородная «тоска по мировой культуре». Что значит жить в Афинах, друг Аристарх: чем гуще дыханье Запада, тем сильнее она, тоска.

Вот искренние, ключевые слова:

«Пейзаж унылый и нехитрый, под стать оборванному сну». А. Олеар напомнил нам об исходном смысле слова «блюз»: унылый, меланхолический джаз. А почему оконный? У героя сборника одно дело – смотреть в окно: «Взгляды на вещи шире, если высок этаж». Этаж-то высок, но соприкоснётся ли герой хоть однажды с землёй? Но это теперь, кажется, необязательно: текст замещает жизнь, куда важней литературные модели, слои аллюзий. Сказано, что благодаря точности языка «сборник Олеара нигде не надоедает». Но стихи как раз на редкость монотонны.

Кажется, я догадался: испытание унынием – изощрённый эксперимент: «Если вдруг/ чёрною-чёрною сажай/ кто-то весь мир/ возьмёт и намажет», то эта чёрная меланхолия всех взбодрит. Цель эксперимента? Исключительно эстетическая: «Чтобы по улицам брёл неуклюже чёрный народ через чёрные лужи». Лужи, понятно, чернильные, а народ? Тоже ясно: не знающий настоящей, чёрной, тоски по мировой культуре.

Беру стихотворение наудачу: «Что з н а н и е – любви когда итог/ всегда известен загодя Оно бы/ терзающее точностью явилось/ пародией таблицы умноженья...». Оригинальное или переводное? Ответа нет, как и во многих дру-

гих случаях. Не за это ли сборник и удостоен премии? К. Верхейл доходчиво пояснил, в чём достоинство стихов Олеара: «Стирается конвенциональная граница между переводом и так называемыми собственными стихами». Ага, «так называемые собственные стихи» – это Пошехонь, день вчерашний. Из-за кордона им видней. Сотни начитанных чалдонов прочитают и согласно хмыкнут: «"собственные стихи" здесь являются почти такими же переводами, хотя и без ответствующего оригинала». Вот он, новый символ веры: перевод без оригинала. Интертекстуальность тут стала без берегов.

Чаще всего это отзвуки Иосифа Бродского. Что ж, идти по его следам никому не запрещено. Но не слишком ли утоптали эту тропу? У него-то стиль был свой, узнаваемый. Послушаем знатока Бродского Вл. Уфлянда: «Множество эпитетов, загоревшись страстью стать вторым Бродским, более или менее успешно мимикрируют... очень приличными вторичными опусами». Ведь что берут у Бродского в первую очередь? Свободу от социальных вопросов, эмоциональную отключённость от истории. Но вырос ли наш томский автор до стоицизма, об этом подумать некому.

На сей счёт автор задирает нас:

*Если в сказанном, читатель,
ты не видишь чепухи –
всё в порядке! Можешь, кстати,
продолжать читать стихи.*

Чепухи не вижу, вижу тоскливую тенденцию: умерла песня, вот-вот умрёт и поэзия. Если это новая мода, боюсь, одна останется муза – формальная грамматика.

Беда жить среди переразвитых, шибко уж образованных: многовато литературщины. Говорят, в мире она занимает две трети печатной продукции. Ну а в «городе мудрецов», уж, как пить дать, семь девятых.

Итак, где своё и где чужое – вот в чём вопрос. «Деревня», на первый взгляд, хорошее стихотворение:

Власть высоко. Бога нет. Есть мыши.

Жизнь протекает, как дырка в крыше.

В крике последнем
(предсмертном) мода:

чучела в клубах и огородах.

И было бы таковым, если бы не калька с раннего Бродского («В распутицу»). А «Блюз римской стены» – это под метафизику позднего Бродского. Скажешь, тут созерцательность? Но это высокая планка, это заявка на философскую лирику. А в ней мы ищем вечные темы: любовь, смерть, страдание. Ничуть не бывало, ни одного стихотворения с такой темой. Герой-автор строго держится принципа экономии сил. А «технические» стихи без определённых чувств, без драматической тональности – вяловатые вирши. Выход из драмы жизни – «чисто грамматический», автор обходит стороной все острые темы современности. В каком городе, в какой стране, в какое время живёт герой? И всё так ровно – ни сильных чувств, ни мыслей оригинальных. Ни тревоги, ни радости, ни ожидания, ни расставания – ни одного из этих определённых чувств мы с героем Олеара не пережили. Усреднённый язык – предмет любви среднестатистического интеллигента. Какой материал для

законодателей новой моды, для любителей жуков на булавках! Никто не напишет пародию, хотя бы весёлый шарж. И не то, чтоб рука не поднялась, – нельзя пародировать всеобщее достояние. «Искры из глаз у неба» – это чуть-чуть под авангард, но не так, чтобы всерьёз, авангард же означает потрясение

читателя. Нет, это случайно залетело всё из тех же книжных закромов.

Тут есть над чем задуматься. Что достойно премий – имитация или творчество? За что награждать стихотворцев? Раньше ценили творческую непохожесть, теперь, говорят, «стихи пишут себя сами», по инерции.

Владимир КРЮКОВ

ВЫ НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫ, КЕЙС!

«Оконный блюз» Андрея Олеара – сборник, без сомнения, стопроцентно русский в отношении языка, прежде всего любовной тонкостью обхождения с ним. Но одновременно он представляется мне образцом той европейской (в самом широком смысле) культуры, к которой мы все стремимся и от которой мы все так зависим».

Это из предисловия Кейса Верхейла, знатока современной русской поэзии, собеседника Иосифа Бродского и Бориса Рыжего.

И ещё оттуда: «Тоска по мировой культуре, выраженная в собственном слове, – вот что ощущается и бодрит почти на каждой странице».

Как хотелось бы порадоваться вместе с уважаемым Кейсом. Потому что разве всем нам не мечталось сопрягнуть любимую европейскую культуру с языком родных осин?

Но нет, не хватает мне этого самого собственного слова. Имитация Пастернака – да, калька с Бродского – да. Есть глаз (порой наблюдательный), есть уверенная (даже какая-то странно самоуве-

ренная) интонация, владение формой на достаточно хорошем уровне. И – полная сдача европейцам и американцам. Трудно отличить переводы и, так сказать, оригинальные стихи (помогают отсылки на имена).

Всё более-менее терпимо, когда имитация идет на нейтральной полосе. Но там, где возникают наши реалии, начинаются провалы в безвкусицу и фальшь.

Ну как вам о деревне: «Солнце, нащупав все дырки в шторе, не распугав суеты амурной, роется в содержимом урны»? Или такое: «А холод, вползая, кольцо за кольцом, свернётся внутри, оплотняя навивы».

Автор, простегивая свои стихи переводами (или наоборот) пытается показать нам: смотрите, вот так пишут они, люди с именами (Уолкотт, Козн, Оден), а вот так – я. Похоже, правда? Похоже. Правда, иногда западная рассудочность, переходя на предметы самые что ни на есть русские, живые, немедленно омертвляет их. Ну разве можно так про первый снег, который намерен

Одеть в перчатки сосен лапы,
забор измазать краской всласть...
Домам напудрить лица мелом...

Или про ледоход в любимом
нами Лагерном саду:

...В партере
палитра из курток, плащей и
пальто
звонка дожидается третьего,
веря,
что снова Весна привезла шапито.

Всё какие-то инсталляции, лиш-
шенные живости, света, воздуха.
Бродский – автор хорошего опре-
деления «Поэзия суть существо-
вание души, ищущее себе выхода
в языке». Неужели душу нашего
автора отражает такой пассаж о
ледоходе: «...Река пошла и ловко
(?) шествует, гордясь обновкой в
блёстках с кляксами»?

Удивительно, но одобрительно
приводимые на обложке книги ме-
тафоры, призванные подтвердить
«стихию в действии», как нарочно,
насквозь манерны – и берёзы, ко-
торые «крутят бигуди», и погонщик
слона «одетый от кутюр Природы –
только в ню-рубашку», и «небо спел-
ёнуто в облачной кальке сочную
штукою синего шёлка». Можно до-
бавить сюда и утро, которое «ладит
солнцу чепчик – облако». Навер-
ное, издавек профессору бри-
танского университета Валентине
Полухиной это и представляется
достижениями русской поэзии. Но
не убеждает.

И если бы дело было в отдель-
ных, может быть, случайных про-
счётах. К сожалению, это, так
сказать, творческий метод. Вся
система тропов вполне случайна.
Потому читающего не оставляет
ощущение заменимости слова в
строке. До обидного мало прямых,
искренних высказываний. Как-то
отстранённо всё протекает, на рас-
стоянии. А ведь отсутствие боле-
вого начала совершенно не свой-
ственно русскому лирическому
поэту. Когда же делается попытка
имитировать какие-то эмоции, по-
лучается неуклюже, выпенне.
Всякое стихотворение – это нарастание поэтической идеи, решение задачи, поставленной себе самому, попытка постижения жизни в разных её проявлениях. Стоп-кадры, даже исполненные формального умения, положения не спасают.

И вот прочитана книга, а вну-
тренний мир стихотворца так и
остался непроницаем.

Возвращусь к началу. Автор пре-
дисловия, толкующий о «любивой
тонкости» в обхождении с языком
и величающий книгу «образцом
европейской культуры», оказыва-
ет нашему поэту явно медвежью
услугу. На самом деле никому не
заказано писать, что и как он хо-
чет. И печатать это в виде книги. Но
не надо непомерно (неподъёмно)
грузить чёлн поэта (как это делает
Верхейл), он не вынесет больше,
чем ему дано. Не надо и читателя
грузить, пусть он сам разберётся.

Татьяна БЕЛЬЧИКОВА:

У КАЖДОГО –
СВОЙ ГОРОД

Бесконечно благодарю наш Томский художественный музей, Татьяну Николаевну Микуцкую, искусствоведа, члена Союза художников России за организацию проекта триеннале в Томске «Рисунков России».

Это интересно всем, кто любит рисовать. У проекта нет возрастных ограничений, нет ограничений в выборе тем и техники исполнения.

Что и как рисовать – дело каждого автора.

Для меня тема города не нова, как и для других художников. Просто у каждого свой город.

Открывая красивые издания по деревянной архитектуре старого Томска, конечно, восхищаешься необыкновенными резными теремами. Хорошо, что их хранят, обустривают. Но рядом другой город. Город – прощание. Он рядовой, обычный. Но какой он смекалистый! Грустно смотреть, когда от цельного куба дома «отходят» так называемые «прирубки»: сени, веранды, балконы. Когда совсем не открываются двери парадные, а с «чёрного» хода столько дверей, что дому впору обвалиться.

Найденный сюжет не бывает случайным. Когда рисуешь с натуры, часто подсаживаются с рассказами «о личном», в основном, выпивающие жильцы, стесняющиеся своей бедности. (Можно подумать, что я от кутюр).

Иногда работать практически невозможно, потому что тут же, во дворе, в зарослях крапивы и лопухов сливная яма. Неужели все 400 лет сюда сливали всё что ни попадя?

Не хочется убеждать себя, что все другие темы неинтересны – интересны, но старый город, сделанный по-хорошему, руками умных людей уходит. Снесут, сожгут старые кварталы, построят тёплые, удобные, кирпичные. Двери кодовые, на входе охрана – камеры. И вполне возможно, люди из одного подъезда не будут здороваться друг с другом.

А пока нам везёт, нужно обязательно гулять по старым улочкам, где всё соразмерно: маленький человек, большой дом, очень большое дерево.

В 1985 году на творческой всесоюзной даче «Сенеж» я сделала серию цветных литографий «Дома под снос». Думала, никогда не вернусь к этой теме. Теперь смотрю на свои работы и знаю – никогда не уйду.

Безусловно, огромное влияние на творческую судьбу оказал «Сенеж» – всесоюзная творческая дача. Одновременно в заезде могли работать в течение двух месяцев около 200 художников. Идеальные условия быта, и всё для работы, начиная от рабочего места и кончая любимыми материалами. Никогда не приезжала работать без эскизов, без творческого материала.

Я сделала серию литографий «Томск – мой город». Это скорее не серия, а цикл литографий. Все литографии монохромны. Техника особенная. Тираж может быть бесконечно большим. Даже во время Великой Отечественной войны художники – картографы и мастера-печатники рисовали и печатали карты военных сражений, плакаты.

Всем известные «Родина-мать зовёт» Ираклия Тоидзе, «Не болтай» Нины Ватолиной.

Мне повезло видеть и Ираклия Тоидзе, и общаться с Ниной Николаевной Ватолиной. Удивительное свойство талантливых людей – открытость и интеллигентность.

В 1973 году руководитель творческой молодёжной группы на «Сенеже» Игорь Павлович Обросов представлял в нам высокого сухощавого мужчину: «Запомните, ребята, это Ираклий Тоидзе, автор плаката «Родина – мать зовёт». Мы разом все развернулись к художнику, он сконфузился. Мы – это молодые художники Сибири.

Банюта Анцане, художница из Риги, пошутила: «Сибиряков так много в группе, будто вы союзная республика.»

Да, нас было много, и мы дружим до сих пор. Таня Владова и Галина Якубовская теперь москвички. Наташа Толпейкина вышла замуж в Англию. Яша Яковлев принял сан. Он теперь священник где-то на Вологодчине, по-прежнему работает в Барнауле.

А там, на «Сенеже», мы были оголтелыми трудоголиками.

В мастерской, как правило, работало от 5 до 8 человек, работали – открыто, не пряча ни эскизов, ни материалов. И знали цену времени. Звёздными именами не бахвалились, автографов не собирали. В конце потока обменивались работами, дарили друг другу оттиски с надписью «на добрую память».

Качество литографских оттисков во многом зависело от мастеров-печатников. Нам, художникам – графикам, везло, если в поток приезжали белорусы: Георгий и Наташа Поплавские, Миша Зайцев. Они всегда привозили с собой Диму Молоткова, печатника.

Дима хотел быть художником, но не сложилось. И он решил: «Буду отличным печатником». И в самом деле, к нему в Минск приезжали художники со всего Советского Союза. Завсегдатаями его мастерской были Алим Режинашвили из Тбилиси, Лариса Федотьева из Москвы. Он печатал всё: литографии, офорты, цветные линогравюры.

Но были и такие профессиональные художники, которые вели весь объём: от рабочей плоскости до печатанья последнего оттиска. Это Николай Благоволин из Москвы, Слава Косенков из Белгорода, и Михаил Верхоланцев из Москвы.

С Евгением Матвеевичем Сидоркиным я работала в группе три раза. В первом заезде, в 1973 году, он посмотрел мои работы, позвал: «Пойдём, посидим на лавочке». И очень деликатно объяснял мне, что такое пластический язык произведения. (Если хочешь, чтобы было произведение). Мне посчастливилось видеть процесс работы Евгения Матвеевича над циклом иллюстраций к «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Это были огромные литографии. Он привозил свои эскизы уже нарисованными на корн-папире.

(«Корн-папир» – специальная бумага, которая мастером-литографом стискивается, как переводная картинка на литографский камень). Описывать последовательность сложного процесса работы бесполезно, потому что такого художника-литографа, как Сидоркин, пожалуй, нет до сих пор. Мастера очень любили работать с Евгением Матвеевичем.

Одна из его литографий так и не вошла в книгу. А изображала она худого мужичонку в трусах и майке, спящего на раскладушке ровно поперёк вертикального листа. В мечтах над спящим были кварталы «хрущёвок», аккуратненьких, беленьких. Внизу же, под раскладушкой, сыпались и ломались храмы, среди которых и храм Христа Спасителя. Какой же это сон – счастливый или пророческий? Нет этой иллюстрации в книге «История одного города». Наверное, не понравилось редакторам видение текста художником Сидоркиным. А Евгений Матвеевич уже тогда был народным художником и лауреатом Государственной премии.

Вот это замечательное общение формировало на «Сенеже» интернациональную позицию молодых и не очень художников Советского Союза.

В 1981 году меня наградили поездкой в Венгрию за серию рисунков «Реки Сибири». (Всесоюзная выставка рисунка, год 1981). Всевенгерская выставка рисунка проходила в городе Шалготарьяне, побратиме города Новокузнецка. Там тоже работали творческие группы, чаще они были европейскими.

Я улетала из Томска. Снег и ветер сбивали с ног. В Венгрии тепло и солнечно. Очень красивая страна. В садах где-то не собраны яблоки.

Незнакомые люди говорят между собой очень тихо, будто бы все венгры знают друг друга.

Экспозиция другая, всё другое. Очень красивое сочетание в экспозиции шрифта и рисунка. Плоскость листа пробита дырочками, натянуты меж дырочек нитки – тоже рисунок.

Нас опекает венгерский художник Ференц Цинке. Он ведёт уроки в художественной школе, для школы это почётно, для Ференца – стабильный заработок. В его коттедже внизу – мастерская, наверху – квартира. Хозяин показывает нам компьютерный литографский станок. Рисует не на литографском камне, а на цинковой пластине. Показывает слайды перегородчатой эмали гиганских размеров, если не путаю, для какого-то дворца в Голландии. Нам завидно и грустно. Но Ференц Цинке в Венгрии личность, он делает эмали в лучших сталелитейных цехах венгерских заводов.

И ещё мы видели могучие монументальные панно Унё Барчаи, автора замечательной книги «Анатомия для художников». Были в музее Маргит Ковач, художницы-керамистки. Маленький музей с огромной печью для обжига. Маргит ни одного произведения не продала за рубеж: «Всё

моё должно остаться в Венгрии». Заходили в Национальный музей и с завистью смотрели в залы – там монтировалась персональная выставка нашего гениального Кустодиева.

Когда же мы, художники России Намеровский Геннадий, Цигаль Татьяна и я, рассказывали о том, что у нас зато литографские станки общие, работа на творческих дачах, где всё бесплатно: проезд, проживание, работа в мастерских, посещение художественных музеев и т. д. – на нас смотрели с укором: «Только что были такие славные, и такая примитивная агитка». А мы и не агитировали, в самом деле, это всё было бесплатным. Но не для всех. И не всё было бесплатным. И, конечно, кроме поборов, которые устраивали мастера-печатники: «Настроения нет, и вообще, пивка хочу».

Но если я брала в руки тираж своего сюжета, держала в руках ещё влажные оттиски, то счастья было немерено. Несравнимо ни с какими нарядами, деньги на которые так удачно пропили мастера.

То, что касается рисования как самостоятельного вида искусства – он был и будет. В то время очень много рисовали БАМ, Нурекскую ГЭС, КамАЗ. Я особо не мудрила, я делала то, что мне было близко: город Томск, сибирскую деревню, реки Сибири.

Среди рисовальщиков России особое место у Ирины Большаковой. Вспоминаю её светозарные рисунки, вижу в каталогах, сборниках. Тема совсем не затейливая: «Мама и дочка Катя». Потом появилась внучка Василиса, сенежские портреты, в основном, женские: Марина Файдыш, Наташа Заровная. Есть и мой портрет. Как мне не хотелось позировать! Своё время для работы строго рассчитано. Позировать некогда. А тут начинается: «Ты совсем не так одеваешься. Посмотри на себя. Ты – «суриковская»! Снимай своё. Надевай вот эту кофту! Нет, подожди! Вот эту!» Продолжение длится долго.

«Стань так! Нет! Вот так! Голову разверни! Хоть раз засмейся!». Комната завалена нарядами, бусами, цветами, вазочками. За моей спиной к стене изолентой приклеены мои рисунки. (Скотча тогда ещё не было). Ира работает неровно. Рисует, ходит, рассматривает меня. Когда же это кончится! И вдруг: «Бельчикова! Всё, ты свободна!».

Вот и состоялся портрет. Не только у меня, у многих друзей Иры Большаковой сложилось мнение, что всё, что делала художница, получалось у неё играючи. Можно и прохохотать, ничего не сделав. Но рисунки Иры Большаковой, её щедрость и мастерство делали её работу узнаваемой везде и всегда.

Среди и ныне здравствующих художников мне особенно дорога Оля Гречина. Более организованного, более трудолюбивого человека я не встречала. За серию цветных литографий «Время, вперёд!» Оле в 1975 году присуждена премия Ленинского комсомола. Смотрю на её работы в каталоге, интернете и вижу, насколько она права и самостоятельна в своём творчестве. Без всяких скидок: художник XXI века.

Любая выставка, это как коллективный сборник поэзии. Это был не только созидательный путь. Это была жёсткая конкурентная борьба. Но в Томске, получив жильё и мастерскую, можно было и не участвовать в гонке.

Очень грустно было в начале девяностых годов. Работы нет, денег нет. Если у тебя есть идеи – это твоё личное дело! И вдруг приходит письмо из Германии:

Лейпциг, 20 июня 1990 г.

Уважаемая коллега,

в связи с подготовкой 5 тома «Всеобщего словаря художников» (АКЛ) издательством Зеeman в г. Лейпциге, мы обращаемся к Вам с просьбой. Для постоянного обновления наших рабочих материалов мы интересуемся информацией о Вашей личности и Вашем творчестве. Произведение в целом, которое является наследником известных словарей художников Тиме-Беккер и Фольмер и предлагается выпустить в 60 томов, включает в себя статьи о живописцах, графиках, скульпторах, архитекторах и представителях прикладного искусства всех эпох и культурных областей.

Просим Вас поддержать нашу работу и послать приложенную анкету и – может быть – другие материалы в наш адрес.

Заранее Вас благодарим за содействие.

С приветом Р. Леман, ответственный редактор.

Замечательные слова, уважаемый коллега! Состояние подавленности – не лучше из всех настроений. Я очень долго ничего не отвечала. А что отвечать? Выставок было много, в том числе и международных. Публикации в коллективных каталогах, сборниках, а жить не на что! Заставил оформить документы и отослать материалы муж.

Я выслала анкету о себе, каталоги выставок и книгу о томских художниках «Томская земля – преображённый край».

Очень долго не было ответа, никакого. И вдруг приходит письмо. Я не помню, нас в это время называли господами или нет.

Второе письмо:

Лейпциг, 15 января 1991 г.

Многоуважаемая госпожа Бельчикова,

мы благодарим Вас сердечно за пересылку анкеты с вопросами и других материалов для нового издания «Всеобщего словаря художников». Для постоянного обновления наших рабочих материалов мы интересуемся и в дальнейшем в дополнительных информациях о Вашей личности и Вашем творчестве.

От всей души желаем Вам успехов в художественной работе, радости и здоровья.

Ещё раз благодарим за содействие.

С сердечным приветом Р. Леман, ответственный редактор.

P.S. Простите, пожалуйста, что мы только что отвечаем на Ваше письмо.

Потом пришло запоздалое письмо из Академии художеств СССР, о том что они рекомендовали меня в «Всеобщий словарь художников», но уже была другая страна и другое время.

Из Томска в АКЛ включены два художника. Николай Беянов – он теперь москвич. И я, у меня том 8-й, стр.374.

*40 лет творческой деятельности заслуженного художника России
ТАТЬЯНЫ БЕЛЬЧИКОВОЙ.*

В октябре 1968 года Татьяна участвовала на первой своей областной выставке в г. Томске, потом принимала участие в более 100 выставках персональных, зарубежных, всесоюзных, всероссийских, зональных, областных, групповых награждена дипломами разных степеней, почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры России, губернатора Томской области и мэра г. Томска. На второй томской триеннале «Рисунок России» (2004 г.) она была номинирована на премию, на третьей триеннале «Рисунок России» (2007 г.) награждена поощрительным дипломом. Обо всём об этом была уже написана не одна статья. Татьяна была также включена во «Всеобщий словарь художников», куда вошло около 25 тысяч художников «всех времён и народов». Первое письмо пришло из Германской Демократической республики.

Художники XX в. представлены выборочно, в соответствии с их художественным или историческим значением. Монограммисты и мастера под псевдонимом представлены в конце всего издания.

АКЛ является результатом глубоких исследований в области истории искусства. Он подготавливался редакцией в течение многих лет, с систематическим просмотром литературы, обширным сбором материалов со стороны художников, исследователей и архивов. Опираясь на международный совет и постоянно растущую глобальную кооперацию со специалистами, академиями, университетами, музеями, галереями, институтами по охране памятников и культурными организациями, была создана методика, был сделан отбор художников и разработаны статьи. Только в первых двух томах приняли участие более 500 авторов из 80 стран, почти 2000 лиц и заведений предоставили ценные, часто еще неопубликованные материалы. Полнота информации, представленная в АКЛ, делает это издание, по единодушному признанию профессионалов, незаменимым для историков искусства, галеристов, собирателей, торговцев произведениями искусства, художественных критиков и для каждого интересующегося искусством.

Николай Глухой

ПОЭТЫ УНИВЕРСИТЕТА

(к 130-летию основания ТГУ)

В этой обширной подборке взыскательный читатель не обнаружит многих авторов, которых ожидал встретить. Но журнальный формат просто не вместил бы всех университетских поэтов.

Во-первых, хотелось, чтобы здесь появились авторы, не попавшие в самый представительный сборник стихотворцев ТГУ «Не вдруг напишется строка...». (Издательство Томского университета, 1998).

Те, кого любители поэзии помнят по названному сборнику, представлены новыми стихотворениями.

Авторы нашей публикации располагаются по алфавиту. Исключение сделано для Василия Ивановича Казанцева. Это наша дань уважения большому российскому поэту, родившемуся на томской земле и обретшему голос в стенах Томского государственного университета.

Василий КАЗАНЦЕВ

* * *

– Никому не переча на свете,
Ты прокрался, неслышно скользя,
Ты неслышно прокрался в бессмертье.
– Но прокрасться в бессмертье – нельзя.
– Коль нельзя так неслышно пробраться,
Коль незыблем бессмертья закон,
Как в бессмертье ты смог оказаться?
Значит, был ты бессмертным рожден?
– Просто песня моя о свободе
Так была весела и пряма,
Так наивна, что стража при входе
Раздалась вдруг невольно сама.

* * *

Над росяным, с отливом воска,
Сияньем спеющих хлебов
Зари далёкая полоска
Горит. Как первая любовь.
И так же чисто и крылато
Парит. Прозрачная насквозь.
И так же ясно, как когда-то,
Сулит. Всё то, что не сбылось.

* * *

Глубина и прозрачность в природе.
Успокоился лес, не шумит.
В опустевшем лесу на колоде
Человек, пригорюнясь, сидит.

Но кручина его — не кручинна,
А легка и добра. И светла.
И летуча. Она беспричинна.
Неизвестно откуда пришла.

Шелест, свет в ней и дальняя сойка,
И блестящая тонкая нить.
И печали в ней ровно настолько,
Чтобы счастьем — законченным быть.

* * *

— В золотящемся, солнечном зное,
Как в лучисто-счастливом венце.
Ты стоишь, деревцо молодое.
Что же тень у тебя на лице?
— Оттого я невесело взглядом,
Так нечаянно грустен мой вид,
Что другое, стоящее рядом,
На меня с неприязнью глядит.
— Так и ты в этих отсветах молний,
Так и ты чистоту своих глаз
Злостью тёмной, ответной наполни.
— Это было бы тяжче в сто раз.

* * *

И думать о жизни бродячей.
И сказку искать наяву...
Со временем просто иначе
Я юность
Свою
Назову.

Я сделаю сущее чудо —
Я время развею, как дым.
Я буду всё тем же, я буду,
Я буду
Всегда
Молодым!

Все та же, в журчании смеха
Пребудет ночей темнота.
...Лишь эхо, лишь дальнейшее эхо
Промолвит
Несмело:
— Не та.

И так же, и так же весною
Цвести будет в окнах ранет.
...Лишь эхо, лишь эхо лесное
Чуть слышно
Откликнется:
— Нет!

* * *

Словно майская листва,
Словно талая прохлада,
Эти мягкие слова,
Этот росный холод взгляда.

Этот солнечный привет
Пряди, солнечно глядящей,
Веющей, переходящей
В солнечный, воздушный свет.

* * *

Прожил сто лет на свете —
И понял всей душой,
Что все на свете — дети.
И малый, и большой.

И понял: дети эти —
Чужие ли, свои —
Как все на свете дети,
Нуждаются — в любви.

В приветливейшей ласке.
В улыбке на лице.
И в немудрящей сказке.
С улыбкою в конце.

Сергей АВАНЕСОВ

* * *

Цель целования — целость.
Счастье — в союзе частей.
Вот бытие и не спелось:
будет янтарная спелость,
да не для наших горстей.

Скорых карет лазареты.
Щёлканье щёлки сквозной.
Поприщем ты ли согретый,
в любнице ты ли одетый, —
ты непрменный связной

между орлом и оралом:
луч, пролетающий сквозь
мир, оплетённый кораллом
зла; в нашем вихре усталом —
миродержавная ось.

ЖЕЛЕЗО

Я железные листья листаю,
в мои руки не капнет елей.
Я один, я чужой в этой стае,
намагниченной стае твоей.

Доболели до осени поздней,
переспали и праздник, и пост.
Только все мои скобы и гвозди
на ходу выпадают из гнёзд.

По ночам не молился ли Спасу,
не свергался ли под аналой?
Что же режете прямо по мясу
тупозубой остяцкой пилой?

Что же времени тайных причастий
не укажете скрипом петель?
Разбери меня, ветер, на части,
уложи в моховую постель.

Разнеси меня, ветер, под корни,
схорони от невольных обид.
Раз не видел я смысла в поп-корне,
значит, буду железом набит.

* * *

Отечество в дыму срамных десятилетий.
Мой старый огород — теперь уж сад камней,
где в хаосе сухих корявых междометий
едва прозябли два трёхстишия о ней.

В обугленных тисках ночного хоровода
себя не охранял, её не сторожил.
На питерских понтах в предчувствии развода
сложил свою башку, да песню не сложил.

Хотел бы я запеть, как хор фиванских старцев,
чтоб всем наперекор случилось визави.
Неоновым огнём гори, моё полцарство,
когда не встречу я привета и любви.

На всякое «хочу» найдётся антитеза,
на всякий креатив возьмётся циркуляр.
Храни меня от сна, молочное железо,
веди меня во тьме, горячий капилляр!

Елена БОГДАНОВА

НОСТАЛЬГИЯ

*Посвящается студентам юрфака,
когда-то обитавшим в общежитии № 5 ТГУ*

Всё так же девушки гуляют в одиночку,
И парами они гуляют тоже.
И кто-то с кем-то коротает ночку,
На жизнь мою до ужаса похоже.

Гудит всё так же пьяная общага,
И грязных сплетен тянутся клубки.
И там кому-то до петли полшага,
А кто-то поддыхает от тоски.

Орут, ломают двери, матерятся,
Ни днём, ни ночью передышки нет...
Как жаль, что те деньки не повторяются,
Как жаль, что мне давно не двадцать лет...

* * *

Старый хозяин, наверное, навеселе.
Тихо, спокойно, и кошка сидит на столе.
Лампа горит, занавешено марлей окно.
Розочка-стрип: всё улажено, всё решено.
Дом деревянный, тут нет никакой суеты,
Тени колышутся, и полустёрты черты,

Встал телевизор, как водится, наискосок,
Чайник дымится, и хлеба отрезан кусок.
Я заглянула украдкой и мимо прошла.
Мне показалось, я тоже когда-то жила
Здесь...

ПАМЯТИ ПАПЫ

Ты — как бурный поток воды,
Я — как маленький огонёк.
Ты гасил меня, но как мог
Выносил меня из беды.

Фотография на стене.
Я не знала тебя таким —
Худощавым и молодым.
Вот и нет тебя. Больше нет.

Вот и некому позвонить,
Вот и некуда мне прийти,
Оправдаться и объяснить,
Вот и поздно сказать «прости».

Владимир БРУСЬЯНИН

* * *

Дунет ветер — вскинется листва,
будто рукава весёлых пугал.
Заметает выжженный асфальт
пыльных улиц тополиным пухом...

Запах детства. Вешнее окно.
Голубая пыль у поворота.
Клейкий тополиный черенок...
Словно шаг в неясную природу,

словно шёпот в нежилой глуши,
где едва оттаявшая глина —
первый пласт нетронутой души —
напиталась соком тополиным...

И плывут, плывут издалека
Надышаться клейким летним соком
Белые, как в детстве, облака,
мягко задевая стёкла окон.

И скользят их тени по земле,
и бегут, бегут за облаками.
И в листве шумливых тополей
юно-голубым вскипает память.

* * *

Я, к сожаленью, забываю плохо:
то ль зло коплю, то ль совесть не велит
то зло забыть. Позорная эпоха
проехала — и каждый хрящ болит,

и каждый нерв. Я не пойму — с рожденья
все люди дрянь иль дряни по пути
нахватывают? Догола раздеть и,
куражась, показать, что сам в шерсти —

по-нашенски. В лохмотья раздерутся:
мол, не по-русски. Взвоешь от тоски,
по-волчьи взвоешь, что как раз по-русски
и по-жителейски — словом, по-людски.

Смотрю на тех — мерзавец на мерзавце.
И я — не Гамлет с «быть или не быть».
И даже надоело огрызаться:
всё без толку. И не смогу забыть.

* * *

Снег идет, снег идет...

Борис Пастернак

Чёрный ручей. Во всю пойму ивняк —
мокрою сетью. Забытая ласка
первого снега. На темных ветвях
скучное небо. Невнятно для глаза
в мутно-бесцветном является свет,
как осознание предмета спросонок...
Падает, падает, падает снег:
тёплый, неслышный, совсем невесомый,
белый из серого, свет без лучей...
Мягко ложится, ложится, ложится:
шапкой на кочку, шугой на ручей,
пухом на хвою, росой на ресницы...
Белит тропинку, валежины, пни,
ветви и плечи. В кисейной завесе —
стылый ручей и продрогший тальник
словно теплее; светлей — чернолесье,

явственной — путь... И яснее тайга.
С виду, покорно, по сути, всевластно
горнее снегом ложится к ногам,
передвигая границы пространства...

* * *

Вышел — и ростепель. Красное утро —
думал, трещит и морозит. А тут
захорошело, и — словно кому-то
нужен и там ждут-пождут,

ждут не дождутся — как школьник с урока,
шпарю, скольжу, поддевая ногой
звонкую льдышку, и блещет дорога.
Только я редко такой.

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

ТРОПИНКА

Дремлет Лагерный сад. Там с высокого берега
От желтеющей осыпи наискосок
Вниз сбегает тропинка и, белая-белая,
В теплых сумерках тычется в мокрый песок.
Мы сбегает по ней — над рекой, как над пропастью,
Первым я, ты — за мною, меня торопя,
Позабуду изгибы ее и подробности,
Не забуду тебя, не забуду тебя.
Под ногами светло — будто спрятаны лампочки
Под песком, чтоб тропу освещать изнутри.
Ты смеешься, держа босоножки за ляпочки,
И одними губами мне шепчешь: «Смотри!».

Я смотрю, но не вижу того, что положено,
Потому что на тихом песке у воды
С ходу юбка и кофточка белая брошены,
А над зыбкою Томью обозначилась ты.
Томь и Тома. Вода и текучие волосы.
Ночь и звезды, и зыбкое небо до плеч.
Тишина и простор, где ни звука, ни голоса.
Только рук наших слитых беззвучная речь.
И река, словно добрая умная женщина,
Что любого поймет и приветит без слов,
Обняла нас светло, будто ею обещано
Охранять эту вечную нашу любовь.

Мы ушли от реки по тропинке по узенькой,
Друг за друга старательно очень держась.
А на травы роса опускалась, как музыка,
И ромашки спросонья не видели нас.

ПЕСЕНКА

На золотом крылечке сидели
И вполголоса песенку пели,
Перебирая струну за струной,
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник ну и, конечно, портной.
— Кто ты такой, скажи, не скрывая?
— Томский студент. А ты кто такая?
— Я — твоя молодость, милый ты мой.
Помнишь, как мы зачеты сдавали,
Пели, любили, мечтали с тобой?

Нас подружили томские музы.
Каждый пятый здесь учится в вузе.
Каждый четвертый, увы, холостой.
Тот, кто не верит,
может проверить,
Но это эксперимент непростой.

Жили коммуной и не тужили.
Очень единством своим дорожили,
Верностью и бескорыстной мечтой.
Томском гордились, взрослеть торопились,
Многому в жизни здесь научились,
Соприкасаясь с его высотой.

Где оно, то золотое крылечко?
Где оно, то золотое словечко?
Время другое и город другой.
И не торопятся больше на встречу
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник ну и, конечно, портной.

КАМЕННЫЕ БАБЫ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩЕ

Плосколистые камни темны и шершавы.
Солнце тенью наполнило щелочки глаз.
Через хвойные ветки и жухлые травы
Они долго и пристально смотрят на нас.

Так кочевник глядел, за добычей нагрянув.
И на знамени цвета небесных вершин,
Над его головой улыбался багряно
Красный волк-победитель – всеильный Алшин.
Отсвет этой улыбки впечатался в камень,
Изнутри обозначив извилины губ.
Каждый лик отшлифован и сглажен веками.
Каждый торс первобытно нескладен и груб.
Было время, когда эти камни стояли
Средь ковыльных степей, на развилках дорог.
И алшины пред ними песок целовали.
И спекался от жертвенной крови песок.
Шли к ним женщины. Мирные шли скотоводы,
Чтоб удачу просить в повседневных делах.
Но открыл Мухаммед одному из народов,
Что не камни им силу дают, а Аллах.
И Великая Степь повернулась к Аллаху.
И забыла, что было до этой поры...
Одинокие камни ослепли от влаги,
От обиды, от жгучих ветров, от жары.
Так бы им и стоять, позабытым навеки,
Наклоняясь к земле, зарастая травой,
Но ученые люди на шатких телегах
Увезли их в сибирские дали с собой.
И поставили в Томске у стен альма-матер,
Словно вехи к былым и грядущим векам...
Стали мшистыми камни. Но светится рядом
Вековая дорога, ведущая в храм.
Породнил этот храм времена и народы,
Степь и лес, силу неба и силу земли...
По утрам в рощу шумно врывается город,
Чтобы к ночи отхлынуть, затихнуть вдали.
День и ночь. Тень и свет. За приливом – отливы.
Жизнь проходит, давая дорогу другой.
Но стоят и глядят нам вослед терпеливо
Плосколистые камни с бессонной судьбой.

Николай ИГНАТЕНКО

* * *

Полыхнула листва.
И вот уже хляби.
В колеях, ну как будто в болоте, вода,
потому что упорно дождями сочится октябрь,
и уже подступает зима, как беда.

Я затравленно жмусь к поседевшим берёзам.
Не помогут.
А холод стреляет в упор.
И меня расстреляет зима своим звонким морозом
равнодушно и споро, как делала до сих пор.

* * *

Валентину Решетько

Ты по-мужичьи, без намёков,
смог, тяжело мучаясь сперва,
природе северной, жестокой
дать очень точные слова,
чтоб стать лесными ли, речными...
Таёжный мир далеких дней
глазами вижу я твоими
и мукою живу твоей.
Года твои теперь — господни,
а жить тебе — не надоест!
И не утопит в Черноводье
твой тяжкий, но плавучий крест.

* * *

Жизнь отклоняется то вправо,
то влево или вовсе вниз,
когда крушение — как расправа,
а возвышение — лишь каприз
судьбы издерганной, прожитой,
совсем как старая жена,
которая как и судьба — одна...
Но та и та — ко мне прибиты.
Так что налево ли, направо —
езде конец, везде расправа.

Елена КИРИЛЛОВА

* * *

Я по рынкам давно не ходила,
Провианта давно не брала:
В день Медведя и в день Крокодила
Тянет нас на большие дела.

Я пройду мимо тёток, шумящих,
Как прибой на морском берегу,
И присяду на низенький ящик,
Погребённый в базарном снегу,

И представлю, что – море, и лето,
И растрёпанных птиц голоса.
Только не было моря, и нету,
Если я закрываю глаза,

Если я ухожу переулком,
Где восход переходит в закат,
Где шаги торопливы и гулки,
И нельзя обернуться назад.

И нельзя ни позвать, ни ответить,
Ни с дороги свернуть, ни дойти:
Только «солнце палящее светит»,
Только шарик воздушный летит...

* * *

Я возвращаться не люблю,
Но всё же возвращаюсь.
И тут же всем — по журавлю,
Как будто вновь прощаюсь.

Назад и вбок — как ход конём,
Вот так — куда вам деться! —
Хоть странен он, но сила в нём,
Я знаю это с детства.

Он мощь грядущего таит
И прошлого порывы.
Ну, всем привет, друзья мои,
Как славно, что мы живы!

Смотри сюда, сквозь толщу лет,
А будут выходные,
Купи и ты ко мне билет —
Мы больше, чем родные,

В гостях у собственной судьбы,
Смешные от смущенья.
И — ход слоном. И все забыть.
И не просить прощенья.

* * *

Как хороши завозы апельсинов!
В который раз беру я килограмм,
И в испареньях скверного бензина
Иду гулять бесцельно по утрам.

Мне ни к чему спешить к делам и людям:
 Я отпускным бездельем дорожу.
 К тому же, путь к успеху зол и труден,
 А я за курсом «евро» не слежу.

Я растворяюсь в щебете и гуле
 Дворов окрестных, ближних детсадов,
 Где ребятня в бессменном карауле
 Звенит, поёт на тысячу ладов.

Шумят деревья, ветру покоряясь,
 И стрелы кранов высят этажи.
 И грядет осень — без конца и края.
 Помедли, август, доброе скажи.

ОЛЬГА КОМАРОВА

* * *

Русская речь метрическая изначально.
 Будь ты хоть в Африке жаркой русский еврей,
 можешь проснуться поэтом однажды и беспечно
 даже не ведать, анапест случился с тобой иль хорей.

Русская женщина павой плывёт с коромыслом.
 Мирно покачивается, в такт её шагу, вода.
 Ритм её бёдер и вёдер усилен смыслом
 складных речений её, и всегда

ритм проходит сквозь тогу жизни иголкой мерной:
 шагом ступает твоим, сердцем твоим стучит,
 или в гостиных часах кукушкой кричит равномерно,
 или подростком в подъезде гитарой бренчит.

Скрипнул сверчок. С карниза сошла сосулька.
 Мерно меняет местами планета свои полюса.
 Мамонты сбились в стада
 и, с допотопной рогулькой, —
 мерное племя людей. Мерные голоса.

* * *

Родилась в Год Солнца
 от звёздной пары
 (папа старше мамы на двадцать лет-верст)
 много после того, как устали татары
 красть из русских селений невест.

Но кровинка татарщинки –
в узости щелей
глаз, в трепетаньи ноздрей –
проявилась в крови моей
красно-пенной
пряной нотой своей.

И осталось в памяти
давней генной: хан урускою звал
и ломал над белым моим коленом
свой калёный кинжал.

И остался в памяти
давней генной
топот узких копыт.
И заря полыхала в степи вселенной.
Пыль. Кибитки. Знобит.

Шагом — стоном,
кибиткой рунной
дальше-дальше за Русь.
И ковыльем несёт бурунным
под убрус...

* * *

В моём детстве было немало печали.
Да прозрачные воды меня качали.
Обласок обласкивал шершавой ладонью.
Мама ласкивала Олюней и доней.

На заре высоко и тонко пели птицы.
Под ступнёй поскрипывали половицы.
Утро раннее: колокольчик, пастух, стадо.
Молоко парное: не хочу, да — надо.

Снились сны берестяные, кружевные.
Больше везло с Татьянами, чем с родными.
Об мальчишек с детства набила шишек.
Шишковала лучше самих мальчишек.

Кедрачи излазила — была белка.
И собакой вылизывала тарелки.
И волчицей свёртывалась под волчьей шкурой,
Зверя мысля второю своей натурой.

Так росла и выросла лесенкой в небо
на орешках кедровых,
на молоке с хлебом,
на полке банном,
на пиру званом,
от деда Ивана
ко внуку Ивану.

Любовь КОРАБЛИНА (ТАТИШВИЛИ)

* * *

И просто радуга была.
И дождь смеялся, издеваясь...
Моя печаль к тебе брела,
На кочках смеха запинаясь.

Моя печаль в далекий путь
Летела, падала, тонула.
Хотела руку протянуть
Тебе. Но нет, не протянула.

* * *

Не верю я, что всё всерьёз —
Рассвет осенний, холод ранний,
Краса заплаканных берёз
И горечь разочарований.

И что-то светлое томит,
И что-то грустное тревожит.
Заголосили соловьи —
Они всему виной, быть может.

Ласкает ветерок, смеясь,
Безумие золотых волос...
И что-то кончилось сейчас.
И что-то снова началось.

ЗАДВОРКИ

Задворки. И хозяином ли, гостем ли,
Ты здесь как будто в цирке за кулисами.
Здесь на ветру оставленные простыни
Пропахли подгоревшей кашей рисовой.

Здесь на углу в афишу одинокую
Давно уже, печатно и старательно,
К такому непонятному «барокко»
Вписали два таких понятных матерных.

А от витрин, где пахнет рыбой тающей,
К церковной башенке с боками круглыми
Взлетает, вслед за голубем взлетающим,
Смех женщины к сияющему куполу...

Родства не помнят улицы парадные,
И знать не знают истину короткую...
Но магистралей праздничная радуга
Начнётся и закончится задворками.

Григорий КРУЖКОВ

СЕКТОР БЫТА

Я забыл, что такое весёлость,
И она мне мерещится так,
Как какая-то дальняя волость,
Где когда-то кончал я физфак.

Как гудящая ульем общага,
Медом мазанная изнутри,
От которой каких-то два шага
До читалки — ну, может быть, три.

От любви до столов общепита —
Помню всё, что тогда проходил.
Неужели я сектором быта
В этой волости-юности был?

Где вы, други? ужель вы забыли
Студсоветов прекрасный азарт?
Мы мечтали о быте без пыли,
Без убожества, пьянок и карт.

Чтоб культурою все охватилось, -
Представляли мы так в голове.
Высоко наша мысль заносилась,
Заносилась до клуба-кафе!

Как хотелось нам, как же нам тщилось
В этой давней минувшей судьбе,
Чтобы всё поскорей совершилось!
Так и вышло... Само по себе.

Но с любой философией жуткой,
Озираясь на пройденный путь,
Хорошо незлобивую шуткой
Эти честные дни помянуть.

Помню, был я и шумен, и звонок,
Мелочной не задёрган бедой.
А теперь стал печален и тонок,
Как по осени лёд молодой...

ЭНТРОПИЯ

Поэт – как нагретое тело,
И будет он греть до того,
Покудова не охладело
Нагретое тело его.

Стоит, как бесхозная печка,
Он в поле, где свищет пурга.
Тем самым и богу не свечка,
И чёрту он не кочерга.

Случится, какой-то бродяга
Погреется этим теплом.
— Ан вышла и польза!
...Однако
Я здесь говорю не о том.

А жутко, что нашего пыла
Сильнее космический лёд.
И всё, что ни было, остыло,
И лишь энтропия растёт.

* * *

Кажется: всё я школьник,
Всё я – не там, а тут.
Слышу я, взрослые дяденьки
Дедушкой меня зовут.

— Что вы, какой я вам дедушка!
Дедушка — это другой,
Седенький весь и старенький,
С длинною бородой.

Ну, а они смеются:
— Ты же и есть такой —
Седенький весь и старенький,
С длинною бородой!

Владимир КРЮКОВ

* * *

Из гущи света и тени,
Воды бегущей, растений,
Замираний, смятений
Вырастет пара строк.
Жизнь сквозь слезы двоится,
По-библейски троится,
Множится и струится
Мутный ее поток.

Всё прекрасно, невнятно:
Эти цветные пятна,
Запах медово-мятный
Из тайника дня.
Бедный мой, безоружный,
Трепетный и жемчужный
Мир, никому не нужный
Кроме меня.

* * *

Время к ночи. А сумерек нет.
И стоит, небеса обнимая,
Золотой продолжительный свет
Уходящего месяца мая.

Этот свет у больших мастеров
Был в почете. На старых портретах
Благородства особый покров
Словно соткан из этого света.

Вот и нам бы пожить без сует.
Мы бы стали, наверно, похожи.
Я гляжу: у калитки сосед
Задержался, задумался тоже.

Что он думает — не угадать,
Только спать не торопится что-то.
И легла на лицо позолота,
И на сердце лежит благодать.

* * *

Те места наших встреч и прогулок
Не забыл, не забыл.
Там, под аркой, особенно гулок
Голос был.
И стихи, что читал я в полсилы,
Проговаривал свод.
Рядом профиль волнующий, милый...
Я загадывал: вот,
Вот проходим во двор политеха,
Это слово моё —
Как растает тёмное эхо,
Поцелую её.
Не посмел. Но никто не увидел
Малодушия миг.
Дорогие Стендаль и Овидий,
Я — плохой ученик.
И уж пройдены наполовину
Все загаданные места.
... Обернётся. С улыбкой невинной
Приоткроет уста.

Лидия ЛАПИНА

* * *

Пьянящий запах реки.
Волн шелестящий прибой.
До пояса тальники
Спрятаны под водой.

Зелёные островки
В немеряной шири обской.
На берегу реки
Я расстаюсь с тоской.

Воспоминанья легки.
Кружится чуть голова.
На берегу реки
Мне не нужны слова.

* * *

Притаилась жёлтым кружевом
Осень в зелени берёз.
Серебром давно остужено
Золото твоих волос.

И никто своею рыженькой
Тебя больше не зовёт.
За околицей неближнею
Про года кукушка – врёт.

ИВА

Ветер сбивает с ног,
Только выйди к обрыву.
Если бы кто помог
Мне обратиться в иву.

Цепко опутав яр
Жилистыми корнями,
Листьев осенний пожар
Ждать можно целыми днями.

Снег на ветвях – не в счёт.
Знала б – растает в апреле.
Солнце растопит лёд.
Там бы стрижи прилетели.

Буйная зелень крон
В солнечных бликах лета.
Ива, вцепившись в склон,
Ждёт своего расцвета.

...Ветер гонит песок —
Игры в мини-пустыню.
Мыс мой, заветный мысок,
В бурю зачем здесь стыну?

Узкой полоской свинца
Речка уйдёт под зиму.
Ждать, просто ждать без конца...
Это невыносимо.

Олег ЛАПШИН

* * *

Лепила, тучу обдувая,
корабль небесная страна,
завоевать на нем мечта
весь белый свет сполна.

Горел ты — Феб, синело небо,
в непостижимой вышине
кораблик, словно корка хлеба,
в воздушном двигался вине.

Но раз, когда он над пустыней
свершал свой путь, как Одиссей,
сраженный засухи картиной
вмиг пролился дождем над ней.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Под абажуром яркий круг,
доска, на ней стоит утюг
холодный, словно он убит,
в нем пламя лампы не горит.

И чай в стакане золотится
лимоном, брошенным в стакан;
а сердце продолжает биться,
хотя экзамен был не сдан.

И в сердце, может быть, тоска
а, может быть, любовь,
и боковина утюга
не греет алу кровь.

* * *

Год прошел — и постарели веки,
ворох красных жил тебя не посрамит;
и струятся белые побеги
седых волос, и гребень с ними слит.

А вокруг могилы неживые
дочери, и мужа, и сестры;
и рубли лежали гробовые,
словно доски — твердые костры.

Ямой жизнь прошла бесповоротно,
только знай — настанет день и час:
все вернется так же беззаботно,
как ушло, не спрашивая нас.

Все вернется в свежем, новом теле,
молодом, как вешняя лоза —
словно души наши пересели
в светлый образ, чистый, как слеза.

Виктор ЛОЙША

НА ЦЕЛИНЕ

...И добреет душа новосёла,
и теплее становится взгляд:
наступает эпоха отёлов,
народженья коровьих ребят.

Как молозиво, вызрело утро.
Подморозило серенький наст.
И коровы устало и мудро
и доверчиво смотрят на нас.

И надёжны тесовые стены,
и кристальна в колодцах вода.

Значит, жизнь задалась постепенно.
Значит, можно мечтать о садах.

МОЙ КАВКАЗ

Коммунальщики города Нальчика,
как геройские мальчишки-с-пальчики,
в самом центре своей Кабарды
охраняют меня от беды.

Над Кавказом в безумных количествах
снегопад происходит эпический,
и утрачивает Кабарда
электрические провода.

Под замёрзшими фуникулёрами
стынут редкие фауны с флорами.
Напролёт, напроход, невпопад
людоедский стоит снегопад.

Напроход! Над Баксанской долиною,
грохоча и стреляя лавинами,
тишиною давя неземной...

Это всё происходит со мной.

Я отрезан в гостиничном номере.
Постояльцы как будто бы померли.
Нет интрижек, и пуст ресторан.
Даже не с кем принять по сто грамм.

Ничего. Мне тепло в одиночестве.
Надоело вращаться мне в обществе.
Посижу, погрущу, поворчу:
я ведь впрямь ничего не хочу.

Ничего не ищу и не требую.
Утешаюсь языческой требою:
«Письма с Понта»; Овидий Назон
навевает томительный сон.

Воздух в Нальчике серый и хлопковый.
Ночь исходит огромными хлопьями.
Наказанье за наши грехи —
глухота равнодушных стихий.

Это надо ценить по достоинству.
Замирают кавказские воинства.
Нет путей, и ущелья ничьи
в паутине немирной Чечни.

Утихают вражда и злословие.
И любое людское сословие
одного только видит врага:
беспощадные эти снега.

Миротворчество, с неба сходящее —
вот такое оно, настоящее.
Предвкушение будущих дней
почему-то намного больней.

Завтра будет весенняя прозелень.
И оценка всему, что мы бросили.
И ручьи, и грачиный содом.
И шаги патрулей за окном.

ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ

Оловянные осенью заводи.
Оцинкованный воздух небес.
Под сосною – сколоченный загодя
от глухой непогоды навес.

Костерок аскетической щедрости
согревает тщедушным дымком.
Три охотника весело щерятся
над походным скупым котелком.

Вдохновенно делаясь небылицами
многолетних былых передряг,
остроскулые, темнолицыце,
натрудившиеся внапряг,

натошак, всухомятку и впроголодь,
презирая мирские дела,
ничего не успели попробовать —
как судьба по усам протекла.

Специфические междометия
исторгают сухие уста:
в смысле: ежели нас не отметили,
но зато наша совесть чиста.

И беспечная гордость бродяжества
нас хранит от житейских обид.
И беда ни за что не привяжется
к тем, кто всеми давно позабыт.

Ольга МУХИНА

* * *

Зелёные совы
смотрели в резные оконца,
И мудро молчали,
и медленно слепли от солнца.

А солнце спускалось
куда-то за синие горы,
И тени скользили,
и прятались в длинные шторы.
И мне, словно в детстве,
хотелось потрогать рукою
Прозрачное небо
над тёмно-лиловой водою.
И было так тихо,
и веки смыкала усталость,
И я засыпала,
и всё же тебе улыбалась.

* * *

Терзаясь сущностью вещей
и настроением предметов,
Бьюсь в неумелости своей,
сама в себе ищу ответа.

И ощущая камня гладь,
хочу щекою, осторожно,
П р и к о с н о в е н и е м понять,
что в пересказе невозможно.

ТОМСКУ

Ты снова снишься мне...
И где-то
неявно,
Словно за спиной —
Берёзы на закате лета,
Обрыв и небо над рекой.

И в этих снах такая сила,
Такой душевный непокой,
Как будто что-то позабыла
И виновата пред тобой.

Вина моя мне непонятна,
Но я прошу тебя: — Прости!
И позови меня обратно
Или навеки отпусти...

Анатолий ОМЕЛЬЧУК

* * *

Не сказать:
Я тоскую,
Скучаю.
Не сказать: я люблю.
Замечаю,
Из нечаянной ночи
Леплю:
Робкий шаг,
Морок сна,
Горечь вздоха.
Со звездой проходит эпоха.
Я признаюсь в любви
Декабрю.

Что столь смутно
В рассвете белело?
Может, плыло,
А может, летело?
Ранний сумрак
Как раненый стон,
На морозе звезда зазвенела.
Уплывало,
Летело
И пело
Это смелое белое тело.
Звон звезды –
Ослепительный звон.

Полнолуние нас обвенчало.
Безнадёжно звезда обветшала.
Растворилась.
Зима за окном.
Морок сна,
Озноб губ,
Трепет тела.
И как будто звезда захотела
Рассказать нам об этом потом.

* * *

Видимо, есть все же высшая цель
Хоть всё туманно, все зыбко.
Вашего голоса виолончель,
Губ ваших нежных улыбка.

Мрачную службу отслужит апрель,
Выплачет жалкая скрипка.
Этой весны обжигающий хмель,
В сущности — только попытка.

Если судьба посадила на мель,
Как же мудра ее пытка!
Вашего голоса виолончель,
Губ ваших нежных ошибка...

Анатолий ПЕРЕРВЕНКО

* * *

Весь — с руками, с ногами
Томск засыпан снегами.
Одинок. Полуночен.
Бахромой оторочен.
Так пристывший к подошвам
И настоен на прошлом.
Давних дней теплый отсвет,
Растворенный в сиротстве.
Из восторгов и пыток
Ты припас мне напиток.
Всё прошло — плюс на минус.
Пей хоть здесь, хоть на вынос.
Сквозь огни и сквозь холод
Вновь встает этот город,
Весь прожит и просрочен
И к судьбе приколочен.

* * *

Я несчастный человек,
Я попал в дождливый век.

Что ни день — идут циклоны,
Гор обрушивая склоны.

Затопило русло рек.
Я несчастный человек.

Капли медленно сочатся,
Струи бешеные мчатся.

Бури бег на целый век.
Я несчастный человек.

Ливни хлещут над домами,
Над размытыми мостами,

Заливая мой ночлег.
Выпал мне несчастный век.

ГОМЕР

Брёл из рая
Или ада,
Брёл по миру,
Оды сея —
И вздымалась
«Илиада»,
И качалась
«Одиссея».

КВИНТЭССЕНЦИЯ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

Осень...
Караси...
«Осень карасё».

Александр ПИМЕНОВ

* * *

Дорожной памяти котомка:
Достану то, что я сберёг —
Вот узелок, связавший тонко
Хвосты извилистых дорог.

К развалинам седого Томска
Прижаться, ноя и скорбя:
О, зыбка вещага потомства!
О, мекка ищущих себя...

И чем-то сумрачно богаты,
Наморщив пагубные лбы,
Кочуют новые ваганты
По узким линиям судьбы —

Для них кощунственны терпенье
И прозябанье под пятой —
Как бьёмся мы, теряя перья
О прутья клетки золотой!

Но это молодостью станет,
Что вспыхнет в памяти, резва,
Как кисть над здешними холстами,
Как деревянная резьба...

ПЕСНЯ О ТОМСКЕ

вальс

Стыду и совести, нас издавна терзавшим,
Уже не просто убережь меня от гнили.
А вам легко, вам хорошо не быть мерзавцем —
Вам повезло, вы этот город не любили!

Тот город-пьяница ласкал меня отцовски,
И точат нас давно одни и те же черви —
Ведь этот город отучил меня от соски,
Ведь этот город отлучил меня от церкви.

От «ностальгии по прошедшему» не кисни:
Воспоминания легли остывшей лавой.
Висят ранеток пластилиновые кисти
Над этим омутом, где нас учили плавать.

Не успокоишь взбаламученного мозга
В места минувшие искусственным возвратом:
Старорежимностью Аптекарского моста
Да Конной площади затерянным квадратом.

Но пахнут женщины всё теми же духами,
А город помнит наши «неуды» и «уды».
Нас выдаёт ему со всеми потрохами
Дыханье юности, как поцелуй Иуды.

Дыханье юности, как поцелуй Иуды,
Нас выдаёт ему со всеми потрохами...

Геннадий ПЛЮЩЕНКО

В ЛАГЕРНОМ САДУ

Здесь хорошо. Здесь даль лесная.
Русалка лунная в реке.
И ты, как белочка ручная,
Идёшь к протянутой руке.

А что я дам тебе? Орешек
Возможных радостей и бед?
Идёшь ко мне, но, каюсь, грешен,
В моей руке орешка нет.

Но есть рука, и без приманки.
Приманка — это ведь обман.
Туман спускается к русалке,
Русалка прячется в туман.

И в этом сказочном затишье
Луны, тумана и реки
Так чудно чувствовать затихшей
Живую трепетность руки.

А мир так тесен и безбрежен,
Как рук сплетённая лоза,
Как золотой звезды орешек
В твоих мерцающих глазах.

* * *

Как яростно горели звезды.
Творилась в небе кутерьма.
И было видно: сквозь березы
Качались гулко терема.
То облаками их смывало,
То, словно Китежем со дна,
Их подмывала, подымала
Ночная чёрная волна.
Казалось – светопреставленье,
Казалось – движется потоп.
Ни молодым, ни престарелым
Не будет памяти о том,
Что совершилось этой ночью.
Но в тучах, словно глаз Христа,
Как знак на мировую прочность,
Горела яростно звезда.
Да, это небо говорило,
Мешая встречные ветра,
Но не глаголом Гавриила,
Но не речением Петра,
А этой самую звездою,
Прорвавшей брэнности налёт,
Вещало: ночь – волненья стоит,
В котором кроется намёк
На то, что, хоть не видно молний,
Но это – пали на весы

Зимы всесильное безмолвье
И песни яростной весны.

* * *

Почти сошли снега в лесу.
На бугорках подсохло даже.
Иди в березы и рисуй
Уже весенние пейзажи.
Снега сошли. Одна лыжня
Свой тянет след среди разводин.
Забудься вдруг и размышляй,
В какую даль она уводит.
Замри рукою на весу,
Останови удары пульса.
Потом воспрянь и нарисуй,
И восхитись, и залюбуйся:
Как по лыжне из глубины
Вчерашней памяти в сегодня
ОНА вернулась, чтоб ты понял:
Ты есть и, значит, нет иных.
Ты есть. И в этом высший смысл
Берёз и снега, и прогулки,
И двух сердец ударов гулких,
И взгляда, что как белка быстр.
Снега сошли. Но ты пиши
Её, лыжню, прогулки ваши,
И будут – о, как хороши! –
Твои весенние пейзажи.

Валерий СЕРДЮК

* * *

Как много в это лето света!

В оконных бликах,
блеске гроз,
в стволах,
зелёных листьях,
ветках
как будто глянцевых берёз,
в прозрачном небе
и озёрах,

как бы подсвеченных со дна,
в вечерних зорях,
хлебозорах —
как много света!

Даль видна.

* * *

Весёлые нынче дела —
весеннее половодье.
Река обрывает поводья
и мчит, закусив удила.
И мчит — по камням,
по песку,
сквозь ветви —
не чувствуя боли:
почуяла, глупая, волю,
не остановить на скаку.
А по берегам, в тальниках,
стоящих в воде по колена, —
тяжёлая пена,
как пена
на взмыленных
потных
боках.

* * *

Нету в сердце
ни любви,
ни горя,
и оно болит...
Не потому,

что осталось
что-то дорогое
в письмах
человеку одному.
Не обида вовсе,
а другое
чувство
мне забыться не велит:
нету в сердце
ни любви,
ни горя...
И оно
поэтому
болит.

Геннадий СКАРЛЫГИН

* * *

Альпийская роза — жарки.
Таверна, парящая в скалах.
Как наши шаги легки,
А счастье — в песчинке малой.
А счастье — оно вдалеке.
В дымке, за поворотом.
Только дрожит в руке
Нежный цветок желторотый.

* * *

Закрывается клапан сердечный,
Зацветает в саду резеда.
А далёко в стремлении млечном
Погибает шальная звезда.
Всё увязано мёртвой хваткой:
Оживает весной ковыль,
А по жалу литовки гладкой
Перед смертью свистит полынь.

* * *

Калёное, низкое утро
Мелькнёт отраженьем свинца.
И тяжесть нахлынет, как будто
Мы жили здесь тихо и трудно,
Чтоб счастье постичь до конца.

Мы верили в святость работы,
В суровость тепла и добра.
Ложились простые заботы
На мизерные щедроты.
А радость знобила с утра.

И здесь, в убелённом пространстве,
Рождалось сознание того,
Что мудрость — в родном постоянстве,
И в продолженье его.

* * *

Чтоб не рассыпаться по миру,
Не умереть в чужом раю,
Я всё на свете враз покину,
Лососем море раскрою.

И, раздирая в кровь бока,
Призывную почуяв влагу,
Вот здесь, на этих берегах,
С родной землёй в обнимку лягу.

Борис УСПЕНСКИЙ

* * *

Какая ночь от Тегерана до Герата!
Мерцанье звёзд — сверкание мечей.
Спаси, аллах, советского солдата
от гнева старшины и басмачей!

В Кабуле лето — ах, какое лето!
Моя душа — открытая мишень.
И не гашиш, так дуло пистолета
подарит увольнение душе.

Я за себя теперь не отвечаю.
Пора кончать позорную игру.
Не наливай, чайханщик, больше чаю!
Пусть Смерть откинет чёрную чадру.

* * *

Урок истории учите наизусть,
чтоб не сойти в ничтожество с позором.
Напрасно ты надеялась, о Русь,
в веках плясать и плакать под забором.

Нет истины ни в пьяной болтовне,
ни в том, о чем витийствуют плакаты.
Ведь истина поистине в вине,
в которой мы едва ли виноваты.

К 40-летию ОКОНЧАНИЯ ТГУ

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
страна дышала перегаром
все эти сорок лет?

— Да, было выпито немало.
Страна меняла идеалы,
и вместо Интернационала
попала в Интернет.

Мы долго недоумевали.
За поворотом рая ждали,
но шли из ада в ад.
Когда ж под сатанинский хохот
бесследно сгинула эпоха,
взошла звезда Гайдара, Коха
и прочих хакамад.

— Но, дядя, что все это значит?
Нам не сопутствует удача.
Истории загнали клячу
и в сторону не ту.

— Налей-ка стопку, Бога ради!
Не приставай с допросом к дяде!
Мы не представлены к награде.
Лишь к тяжкому кресту.

6.07.2002

Андрей ФИЛИМОНОВ

Стихи из цикла «Посвящения»

* * *

Посвящается Гераклиту

По мнению жены, я — шизофреник.
Во мне живут и циник и романтик,
и фундаменталист с эпикурейцем
во мне живут и печень мне клюют.

Но panta rei —
все пофигу — в пролёте
бессмертная душа над захолустьем.
Идёт поэт, портвейном бряцает.
Мечтает о покупке DVD.

* * *

Посвящается Гомеру

Ехал грека через реку.
Звался грека Одиссей.
Я поэт был в прошлом веке
а теперь отец детей.

— Хочешь греческую сказку? —
я ребенку говорю. —
Это было в древнем царстве
Ойкумены на краю.

Между Сциллой и Харибдой
притаился скользкий рок.
Грека думал, что он хитрый.
Тут-то рок его и — цоп!

Превратился грека в рака
(Рак по гороскопу я),
на рулетке зодиака
расположен близ нуля.

С детства всё к нулю стремился.
Круги бубликов любил.
В круге первом обженился,
Во втором детей родил.

Дети спят. Отец за книгой —
Ночь, бессонница, Гомер...
На странице видит фигу
вдруг античного размера.

Щурится герой Европы,
хитроумный Одиссей.
Это ж... попа Пенелопы
Милой родины милей.

* * *

Посвящается русской провинциальной архитектуре

Дома красивы, потому что до
17-го выстроены года.

— Простите у меня был плеер в ухе, —
вы что-то говорили о свободе?
— Я стукачок (показывает корки).
Повсюду слухи
ходят.
Повсюду сухи
враги выходят из оврагов — суки!
И даже не боятся замочить друзей народа.

— Простите, я боролась за свободу,
по вашей блядской мерке я блудница
но без греха (показывает камень)
Иллюзии 17-го года
развеяны в угоду далай-ламе.

— Я поп Гапон (показывает яйца),
Я в доме нетерпимости служу
обедню — утром, утреню — под вечер.
Все перепуталось и нечего терять.

Как современник классику ответчу:
Деревья тают осенью как свечи.
Изнанка золота природы — снег и смерть,
Как платье с плеч спадает с птицы клеть,

А люди тонут в разговоре...

Николай ХОНИЧЕВ

МОРЕ

Цвет детства — цвет морской волны —
Лазурно-травяной.
Зелено-голубые сны
Дарил морской прибой.

Гляжу в бескрайний водоем,
А мне лишь пятый год.
В Одессу с мамой мы плывем.
Огромный теплоход...

Тик-так – небесные часы.
Уже который год,
Соленый бриз морской росы
Уснуть мне не дает.

В морской распахнутой волне
Задумчивый утес.
По морю неба в вышине
Плывут медузы звезд.

2007

УЛЕ

Наплывают, зовут ароматы...
В разноцветных флаконах — весна.
Обретенья возрастут сквозь утраты.
Ты для счастья творцом создана.

Ты открыта, честна и прекрасна.
И поэт от любви поглупел.
Сводит горло от хрупкого счастья —
Год тебя я увидеть хотел.

Все искал золотую причину...
Но молю, вдохновеньем храним —
Никогда не проси у мужчины
Разрешенья на встречу с другим.

Мы речными брели берегами
И встречались в столетьях иных.
Я растаю и стану духами —
Легкой влагой на ушках твоих.

Запоет-защечечет прохлада
Мудрым голосом соловья...
Прошепчу языком аромата —
Я люблю тебя, сказка моя!

2004, 2007

ЛЮБОВЬ ВОЗВРАТНАЯ

Друг от друга, ненаглядная,
Снова вспыхнуть довелось.
Ты — любовь моя возвратная...
Новый век. Тепло волос.

Аромат — нежнее памяти
О начале наших встреч.
Белоснежными тюльпанами
Одаряет время-врач.

Чувство омутное, топкое.
И не спрячешься нигде.
А у века — нервы тонкие.
Тоньше пленки на воде.

2002

Владимир ШИРЯЕВ

ЗНАКОМСТВО

Там, где зелёные луга
Уходят в синеву,
Возьму быка я за рога:
— Как, бык, тебя зовут?

И, не бодаясь, не грубя,
Так промычит мне он:
— Меня? Меня зовут Семён.
А как зовут тебя?

— Зовут Владимиром. Я — бард,
И, хоть упрям, как бык,
Друзья божественный мой дар
Не признают. Как быть?

Пою — стараются мешать.
Быть может, замолчать?
— Ну, если принялся мычать,
То надо — домычать!

* * *

Как и десять дней назад,
В царственном безделии,
Мрачно вороны сидят
На высоком дереве.

Закричу на весь наш сад!
Взмоют без оглядки.
Опустились. Вновь сидят.
Но в другом порядке.

* * *

Твердила юная жена,
Персты ломая:
«Тобою опустошена,
Как Русь — Мамаем!»

Но отвечал на это он:
«Мой друг, неправда!
Мамай ведь нами побеждён
Был у Непрядвы.

Тогда его разбили мы,
Но, правда, вскоре
Его преемник Тохтамыш
Наделал горя.

Потом врывался Едигей —
Эмир Тимура...»
...Так до утра долдонил ей —
Печально, хмуро.

* * *

Развернула поутру
Яблоня свой веер.
Никогда я не умру!
В этом я уверен.

Вся в сиреновом дыму,
Выстрелила почка.
— Не умрёте? Почему?
— Не умру, и точка!

Михаил УСКОВ

МЕСТЬ

Ноябрь был на исходе.

Ранним утром Зинаида Федоровна Торопова вышла на дощатое крыльцо своего неказистого домика и ахнула:

– Господи! Снегу-то!

От свежести и чистоты воздуха закружилась голова. Женщина прислонилась к стене, постояла с минуту и решительно взялась за лопату. Дело для нее было привычное. Она очистила от снега крыльцо и сделала тропинку до калитки. С улицы слышалось урчание буксующей машины: в глубоком снегу елозила иномарка.

«Надо помочь мужику», – подумала Зинаида Федоровна и вышла за калитку.

У ворот своего особняка стояла соседка Верка, которую еще до перестройки называли «спекулянткой». Эта кличка, как из сказки птичка, обернулась другим словом «коммерсантка», чем она и гордилась, уже не боясь преследования властей за то, что скупает товар дешевле, а продает дороже. Теперь многие так живут.

Одетая в меховую куртку, в лохматой шапке-ушанке, Верка гладела по сторонам, будто прицениваясь к погоде, от которой зависела удачная торговля. Иномарка ее как будто не интересовала.

Водитель машины в черном длиннополом пальто выскочил из кабины и ногами начал разгребать снег из-под колес, затем снова сел за руль и началось: ур – ры, ур – ры, ур – ры!

Машина дергалась вперед-назад, но идти через глубокий снег отказывалась.

– Верка! – окликнула соседку Торопова. – Чего глаза таращишь, давай подсобим мужику!

– Больно он мне нужен! – ответила та. – Много их тут ездит, всех не натолкаешь, а за бесплатно толкать дураков теперь нет!

Верка повернулась и зашла в свою ограду.

«Да, – подумала Зинаида Федоровна, – бесплатный сыр теперь только в мышеловке, о чем напоминает телевизор. Очерствел народ!»

С лопатой наперевес, как солдат с оружием, она подошла к машине. Водитель, чертыхаясь, снова вылез из кабины.

– Чего, мил-человек, ругаешься, возьми-ка лопату!

Водитель, парень лет двадцати, вытерев широким рукавом пальто вспотевший лоб, молча взял лопату и стал ей беспорядочно тыкать под колеса.

– Нет, мил-человек, – покачала головой женщина, – так не годится! Лопату в руках ты сроду не держал. Дай ее сюда!

Парень без возражений вернул хозяйке инструмент. Торопова проворно подкопала снег под колесами машины спереди и сзади, как это делают опытные шоферы.

– Ну вот, – довольная и тоже вспотевшая, весело сказала она, – а теперь, мил-человек, садись за руль!

Парень покорно влез в кабину, колеса крутанулись по наледи, но случайная помощница поднажала худеньким плечом, и машина, заскулив, как пес, которого тянут за ошейник, заскребла колесами и двинулась, а потом, набрав ход, укатила. Водитель не поблагодарил за помощь, но женщина не обиделась.

Проводив машину взглядом, она пошла к своей калитке, и тут ее окликнула Верка, которая, как видно, не ушла домой, а выжидала в своей ограде.

– Ну что, сердобольная, – сказала она, не отходя от ворот, – не надумала продать мне свой участок?

Разговор этот был начат еще летом. Коммерсантка вознамерилась расширить свои владения, ей требовалось «жизненное пространство» как и многим «новым русским». Она упорно наседала на одинокую соседку, надеясь уломать ее и за бесценок приобрести усадьбу. Торопова каждый раз отвечала отказом. И сейчас она отрицательно покачала головой.

– Пожалеешь, старая! – наступала Верка. – Пока даю хорошую цену, соглашайся! Не ровен час, сожгут, и останешься ни с чем!

– А куда же я должна идти с твоими деньгами? – защищалась Зинаида Федоровна.

– Не прибедняйся, соседка, у тебя есть дочери! С деньгами любая возьмет! А деньги даю немалые!

– Может, и немалые, месяцев на пять хватит, а дальше что? У дочерей свои семьи, живут в «хрущевках», не разгуляешься. А тут я никому не мешаю, разве что тебе.

– Ну смотри, не прогадай, старая! – голос Верки прозвучал недобро, даже угрожающе. Она повернулась и ушла в сарай, в котором откармливала с десяток свиней.

«От тебя можно всего ожидать, – с тревогой подумала Торопова, – но и твоя усадьба сгорит, дома-то наши рядом. А терять тебе есть что!»

Это обстоятельство, наверное, и удерживало завистливую и алчную коммерсантку от решительного шага.

Поселок, в котором они жили, когда-то был окраиной города. Но город расширялся, и окраина уже давно отодвинулась далеко к лесу. Частный сектор оказался в престижном месте. Его облюбовали предприниматели и коммерсанты. Коттеджи, напоминающие дворцы и средневековые замки, росли, как грибы. На их фоне домик Тороповой был похож на безногого инвалида.

Зинаида Федоровна, похоронив мужа, жила одна. Ее пенсия, как у многих пенсионеров, позволяла только едва сводить концы с концами, будто и не гнула она свою спину на колхозных полях, не тянула жилы на лесозаготовках, не стояла у станка на заводе. Выручал огород, где она выращивала картошку и всякую мелочь. Овощей хватало на долгую сибирскую зиму. Она еще помогала дочерям, у которых были свои дети. Внуки подросли: девочки заневестились, у мальчиков свои проблемы. Огород, который они когда-то любили, перестал их интересовать. Но был еще внук Дениска, самый маленький, первоклашка, и самый любимый. Родители часто оставляли его у бабушки, и он разделял ее одиночество.

Дениска рос непоседливым человечком. Он постоянно что-то мастерил, строил, рисовал. Когда выходил на улицу, то сугробы снега служили для него, как целина для первопроходца, а заборы – вершинами гор.

Голосок мальчонки, звонкий, как весенний ручей, был слышен далеко за оградой:

Жители поселка по примеру Дениса тоже стали называть Торопову «бабой Зиной».

Баба Зина жила одна, но она не чувствовала себя одинокой. Кроме огорода и внука у нее еще была и живность. Во дворе – сторожевая овчарка по имени Астра. Она исправно несла свою службу. Как-то осенью Верка, до этого не бывавшая в доме Тороповой, сумела проскочить мимо собачьей будки и долго насадала на бабу Зину, убеждая продать ей свою «хибару» с огородом. Баба Зина стойко выдержала напор спекулянтки-коммерсантки. Обозленная Верка выскочила из дома. Баба Зина и охнуть не успела, как Астра исправила свой промах, ухватив соседку за дорожную юбку, и вырвала большой клочок. Жители поселка потом долго слышали голос Верки, она грозилась судом. Приходил участковый, беседовал с Тороповой, с соседями, а узнав, что Астра была на привязи и Верку в гости не звали, закрыл свою папку, ушел и больше не приходил. Замолкла и Верка. Баба Зина не ругала Астру. Она молча погладила собаку по голове и выдала ей, как награду, говяжью кость, которую привез кто-то из дочерей для ее сторожа.

В доме Тороповой была еще одна хозяйка – трехцветная кошка сибирской породы – Муська. Кошечка была большой чистюлей и с характером: не ко всем шла на колени. Она признавала свою кормилицу и дружила с Астрой. Дениса же обходила стороной.

«Все, как у людей!» – говаривала баба Зина. Денис обычно прогуливал собаку в рощице за огородом, и Астра за это любила мальчонку, а хозяйке некогда было ею заниматься. Дай Бог накормить бы всех! И если мальчишка в своей игре допускал грубость или причинял боль собаке, она прощала малышу. Но внук так же мог обойтись и с Муськой. Степенная кошка, которая «гуляет сама по себе», не позволяла крутого с ней обращения. Она защищалась, и Денис нередко ходил с царапинами, а кошка исчезала в подполье через сделанное отверстие.

Однажды осенью баба Зина спустилась в подполье следом за кошкой. Она протянула руку, чтобы взять с полки банку маринованных огурцов, и тут же, как ужаленная, отпрыгнула назад.

– Господи! Что это?

Из-за банки за ней следили чьи-то глаза. Торопова включила фонарик, который она всегда брала с собой, и рассмотрела на полке зверька с крысиной мордочкой, но с рыжим окрасом шкурки. Рыжих крыс женщина никогда не видала, поэтому удивилась: «Крашенная, что ли?».

Муська, сидя на земляном полу, спокойно наблюдала эту сцену.

– Ты почему, шельма, не исполняешь свои обязанности? – упрекнула ее хозяйка. – Я же боюсь крыс!

Но кошка не проявила интереса к зверьку, она лениво, как бы нехотя, стала обследовать углы подполья. Баба Зина помогала ей фонариком, но дыр и щелей не нашла.

– Странно, откуда пришла эта крашенная топ-модель? – удивленно спросила баба Зина не то себя, не то кошку. – Ты что же, боишься ее, или она твоя подруга?

Муська, не глядя на хозяйку, неторопливо поднялась в дом по ступенькам лесенки, баба Зина – следом за ней.

После этого случая Торопова спускалась в подполье с опаской. Она брала свою любимицу и отправляла ее впереди себя.

Кошка, как всегда, обнюхивала помещение и спокойно удалялась домой. Охотничьего интереса она не проявляла. И «гостя» о себе не напоминала. Бабу Зину взяли сомнения: «А была ли крыса? Может, чертовщина это?».

Но вскоре она обнаружила поврежденную картошку со свежими следами зубов хищницы. Значит, крыса живет тут или откуда-то приходит. Что же случилось с кошкой? Она как будто не чувствует добычу. Может, потеряла нюх?

Перед Новым годом Муська родила трех котят. Она блаженно отдыхала после родов, развалившись в картонной коробке в углу около печи, где тепло и уютно. А слепые комочки, попискивая, тыкались тупыми мордочками в ее набухшие соски и присасывались, как пиявки. Довольная, разомлевшая мамаша нежно облизывала потомство шершавым языком. Баба Зина хлопотала по хозяйству, но находила минуту остановиться около роженицы, подлить ей в миску молока и погладить по спинке. Как всякая кошка, Муська любила нежное прикосновение рук хозяйки. Она закрывала глаза и начинала мурчать от удовольствия. Лапы ее вытягивались, а белый животик, с вылизанной до блеска шерстью, похожей на передничек, поворачивался навстречу теплой человеческой ладони. В эту минуту она забывала о своих детях. Котята отрывались от сосков, елозили около брюха матери, скребли лапками и дружно поднимали возмущенный писк. Кошка тут же вспоминала о материнских обязанностях, котята умолкали, только слышалось их причмокивание. И баба Зина приступала к своим делам.

Котята ей нравились: один, как уголек, черный, но в белых носочках и галстучке на грудке; другой котенок, дымчатого цвета, имел белую манишку, а третий котенок – вылитая мать, такой же трехцветный.

«Кому-то добро принесет эта малышка, – вспомнила баба Зина поверье о трехцветных кошках. – Найти бы им хороших хозяев!»

После Нового года к Тороповой приехали в гости дочери со своими детьми. Все долго охали и ахали возле кошки и котят. Брала их на руки, носили по комнате. Котята громко пищали и беспомощно шевелили лапками. Кошка жалобно мяукала.

Когда гости разъехались, Дениска остался у бабушки на каникулы. Он привык считать себя хозяином в этом доме, где ему все позволительно, поэтому не отходил от котят и мешал их общению с матерью.

После обеда баба Зина ушла по воду на колонку. В это время Денис схватил у кошки ее детенышей и стал бегать по комнате.

Торопова с полными ведрами возвращалась обратно. Её догнала Верка.

– Привет, соседка! С Новым годом!

– И тебя тоже! – сдержано ответила Зинаида Федоровна.

Верка, конечно, не забыла зубов ее собаки, но как неплохой лицедей, изобразила доброжелательность.

– Новость слышала? Делец тут один землю поселка купил для строительства. Хибары под бульдозер пойдут. Может, продашь участок пока не поздно? Я тебе цену прибавлю!

– Спасибо, мил-человек! – ответила баба Зина, не останавливаясь. – Некуда мне уходить, разве что в землю!

Торопова открыла калитку. Астра, ожидавшая хозяйку, гавкнула и рванулась навстречу. Верка отскочила назад, матюгнулась, как грузчик на рынке, и убралась восвояси.

Когда баба Зина вошла в дом, там стоял сплошной рев: кричали котята, сердито мяукала кошка и громко смеялся Дениска.

– Что тут за содом? – строго спросила бабушка. – Зачем малышей мучаешь? Ведь ты уже большак! Положи их на место!

Денис надулся, но повиновался.

На следующий день он проснулся от того, что бабушка кого-то отчитывала. Денис спрыгнул с кровати и в трусах выбежал на кухню, где у печи хлопотала баба Зина.

– Денис, – сердито сказала она, – Муська ночью из-за тебя перетаскала котят в подполье, а там крыса может их съесть!

Мальчишка глянул в угол, где стояла коробка, и увидел кошку с котятами, которых она тщательно вылизывала.

– Баба, не обманывай меня, они в коробке!

– Мне пришлось спуститься за ними в подполье.

Малыш было наклонился к котятам, кошка напряглась, прекратив свое занятие. И когда Дениска хотел схватить котенка, Муська злобно мявкнула и вонзила ему в руку когти. Мальчишка взвизгнул, и тут же получил шлепок от бабушки.

– Чего дерешься? – захныкал внук.

Баба Зина оттащила его от коробки.

– Мил-человек, если тебя не шлепнуть, ты и душу не обретешь!

Она посадила внука на табуретку, и сама села рядом.

– Меня в детстве тоже не всегда миловали, доставалось побольнее, чем тебе, однако я не окривела. Больно и обидно тогда, когда наказывают незаслуженно. А если уж виноват, терпи! Ты же мужчина!

Дениска протянул к ней руку, на которой была кровь.

– Во! А ты меня бьешь!

У бабы Зины защемило сердце, ей стало жаль внука. Она молча достала из шкафчика бутылочку тройного одеколona, который ей служил лекарством, и ваткой промыла ранку. Эту процедуру мальчик выдержал, но продолжал всхлипывать. Бабушка прижала к себе внука и погладила по стриженной головке.

– Вот и зажило! – она хотела перевести все на шутку.

– Ага, зажило! – противился малыш. – Не любишь ты меня! Не буду приезжать к тебе!

– Ой, Денис, Денис! – баба Зина еще крепче прижала мальчонку к себе.

– Дурачок ты маленький, как же я могу не любить тебя, своего внука?

Она опять начала поглаживать стриженный его затылок.

– Я хочу, чтобы ты был добрым ко всем, и к кошке тоже. Она все понимает. Где добро, там и тепло, а если кто со злом, к тому зло и вернется. Запомни это!

Отпустив внука, баба Зина осторожно взяла из коробки котенка. К хозяйке кошка отнеслась спокойно, с доверием, и хотя малыш запищал, почувствовав незащищенность, мать мявкнула раза два, явно успокаивая свое чадо, мол, бояться нечего, и котенок замолчал, но беспомощно тыкался мордочкой в ладонь хозяйки.

– На, поддержи его осторожно и положи на место!

Дениска перестал всхлипывать, взял котенка, прижал к себе, как это делает бабушка, и стал гладить. Но малыш понял, что он уже в других руках, и поднял крик. Муська заволновалась, замяукала, прося хозяйку вернуть ее ребеночка. Баба Зина быстро забрала котенка и отдала матери, которая стала успокаивать детеныша языком, так же, как это

делала бабушка внуку, поглаживая рукой по голове. А котенок быстро отыскал у матери сосок и притих. Все успокоились.

– Видишь, – сказала баба Зина внуку, – все они понимают, даже котенок. А ты – человек, и у тебя на плечах голова, не огурец с семенами!

Позавтракав, Дениска вышел на улицу. Падал снежок. Он был похож на сахар, которым баба Зина обычно посыпала булочки, выпеченные на печи. Дениске захотелось его попробовать. Он зачерпнул снег рукой и сунул его в рот. Сладости в нем не было, но он вкусно таял во рту, как сахарная вата, которую ему иногда покупали. Мальчишке понравился снег, и он зачерпнул полную ладонь, но услышал стук в окно. Баба Зина грозилась ему пальцем. Тогда Денис отыскал в ограде лопату и начал строить крепость.

Когда подошло обеденное время, бабушка позвала внука к столу. Обедали на кухне за маленьким столом. Внук ел торопливо и пытался рассказывать бабушке о своей крепости, которую строит. Он крутился на месте, размахивал руками и наконец облился чаем. Баба Зина прикрикнула на него. От ожога руки Дениска подпрыгнул и замер.

– Баба, а где котятка?

– Как где? – спокойно отозвалась бабушка. – В коробке! Где им быть?

– Баба, их там нет и Муськи тоже!

Баба Зина метнулась за печку:

– Правда!

Она заглянула во все углы на кухне и в комнате, но котят и кошки не было.

– Вот шельма! – заругалась баба Зина. – Опять слепышей перетаскала в подполье. Ну, и задам я ей!

В это время кто-то задел Денискину ногу и тут же раздалось «мяу».

– Муська! – обрадовался мальчуган. – А где твои деточки?

– Мяу! – ответила кошка.

– Ах ты, негодница! – напуская на себя строгость, прикрикнула баба Зина. – Опять малышек отправила в подпол! А не боишься, что крыса съест твоих крошек?

Но кошка начала ласково тереться о ногу хозяйки.

– Ишь ты, значит, не боишься! Нашла с кем дружить! Виданное ли это дело, чтобы охотник дружил с дичью.

Голос бабы Зины смягчился. Но тут Муська поддала широким лбом в ногу кормилицы.

– Перестань, шельма, бодаться, – заворчала хозяйка, – сейчас допью чай и налью тебе молока!

Мальчуган удивился:

– А она бык, что ли?

– Не бык, но есть захочет, бодается не хуже. Рога бы ей еще!

Внук рассмеялся, представив кошку с рогами.

После обеда баба Зина засобиравалась в магазин за хлебом, а Денис – на улицу. Ему надо было достроить крепость. Запросилась и Муська.

– А ты-то куда? – удивилась хозяйка. – Ты же детская!

Но кошка настойчиво просилась на прогулку, и женщина сдалась:

– Устала, что ли? Ну смотри, смотри. Не останься без деток!

Так втроем они и вышли из дома.

Погода была теплая, небольшой снежок продолжал наполнять двор к радости Дениски. Мальчик вооружился лопатой и забрался на снежный

бугор, будущую стену крепости. А Муська решила пообщаться с Астрой. Та обнюхала кошку и лизнула ее в мордочку. Они походили на двух подружек, обсуждающих семейные дела. Астра чувствовала, что Муська выкармливает детей, и проявляла к ней собачье почтение.

Торопова вернулась домой через час с сумкой, заполненной продуктами. Денискина крепость развалилась, сам он был в снегу, как снеговик: прицепить морковку к носу и можно было бы выставить за ограду.

Хозяйка открыла дверь, и первой в дом прошмыгнула кошка.

Через некоторое время пришел Дениска.

– Баба Зина, пить хочу!

Бабушка оглядела его с ног до головы:

– Ты почему в снегу? Пооди в сени и отряхнись хорошенько, валенки обмети веничком, он за дверью!

Денис запыхтел недовольно и вышел в сени. Когда он вернулся, Муська бегала вокруг хозяйки и мяукала, как плакала.

– Ах ты, батюшки, однако и правда крыса что-то натворила! – заохала баба Зина. Она поспешно сунула ноги в галоши и открыла западную в подполье.

– Денис, подай мне фонарик, он лежит на комодe!

Внук бегом кинулся в комнату и вернулся с фонариком.

– Баба, а мне можно с тобой?

– А что ты там не видел?

– Я тоже хочу посмотреть, что случилось.

– Тогда обуй старые тапочки, они в шкафу на нижней полке!

Баба Зина начала спускаться в подполье, за ней с плачем полезла Муська, а следом – Дениска. В подполье было темно и пахло гнилью. Бабушка включила фонарик. В деревянном закрое мальчик увидел картошку, заготовленную на зиму, а рядом, в закрое поменьше, хранились морковь, свекла и редька. На земляном полу и на полках стояли банки с вареньем, огурцами и капустой.

Баба Зина осветила в угол, где лежала куча тряпья:

– Так и есть! Котят украла крыса! Ах ты, Господи!

Муська с жалобными возгласами металась по всему подполью. Заплакал и Дениска.

– Ты-то что реवेशь? – прикрикнула баба Зина. У нее самой выступили слезы. – Говорила тебе не трогать котят!

Внук заревел еще сильнее, кошка, обнюхивая углы и стены, вторила ему.

– А ну, марш все отсюда! – скомандовала бабушка.

Денис, всхлипывая, полез наверх, баба Зина следом. Только кошка, убитая горем, осталась в подполье в надежде отыскать следы пропавших деток.

Через некоторое время она объявилась в квартире по-прежнему скорбно мяуча, словно прося помощи у кормилицы.

– Отстань от меня! – ругалась баба Зина. – Я тебе говорила не носить детей в подполье, предупреждала, что крыса их съест, но ты не послушалась.

Она отчитывала свою любимицу, как человека, как того же Дениску. Внук обратил на это внимание:

– Баба, кошка не человек, она не понимает, что ты ей говоришь!

Он уже не плакал, и ему хотелось искупить свою вину, но не знал, что надо делать.

– Нет, Денис, кошка соображает, о чем я говорю, она только разговаривать не может.

И действительно, животное прислушивалось к хозяйке и как бы старалось понять ее слова.

Вечером Муська попросилась на улицу. Баба Зина заворчала:

– Не успела потерять детей и уже гулять? Ну да ладно, гуляй! – и она выпустила кошечку.

Денису уже надо было спать, а Муська еще не вернулась.

Баба Зина несколько раз выглядывала на улицу и зазывала несчастную любимицу, но кошка не откликнулась. И Денис выходил в сени и тоже заманивал в приоткрытую уличную дверь:

– Муся! Муся! Кис, кис!

В эту ночь кошка домой не пришла.

– Не иначе как загуляла, шельма! – осуждающе сказала бабушка. – Все как у людей, которые, не успев схоронить близкого человека, учиняют гульбища.

– А почему ты ее называешь «шельмой»? Что это такое? – спросил внук, лежа в постели.

– Так когда-то говорил мой папа, твой прадед. Мне это запомнилось. Это как бы ласкательное ругательство. Может, оно и к тебе прилипнет, как жвачка, которую ты у меня налепил повсюду.

– А почему ругательство? – не понял мальчик. – А нам учительница говорила, что ругаться нехорошо!

– Конечно, нехорошо! Учительница говорит правильно. Но, к примеру, ты обидел котят, как мне тебя поругать? Не могу же я говорить словами пьяных дядей. Это оскорбительно и обидно. А так, как ругал меня мой папа, я не обижалась. Если Муську я называю шельмой, то тебя могу назвать «шельмец».

– А что это такое? – не унимался Денис.

– Не знаю, но, наверное, баловник!

Всю ночь малыш постанывал и всхлипывал. Снилось ему что-то нехорошее и, скорее всего, связанное с кошкой и котятками. Баба Зина несколько раз поднималась ночью с постели, трогала лоб внука, не заболел ли, укрывала его одеялом и потихоньку шептала над ним: «Господи! Спаси и сохрани мальчика!»

Проснулась она от громкого крика Дениса:

– Баба Зина, что это?

Она мгновенно села в постели, но успела глянуть в окно и на часы-ходики, висящие на стене. Время – десятый час, а за окном – темень. Снег валил крупными хлопьями и закрыл свет, как занавески, которыми баба Зина пользовалась редко. Окно выходило во двор, поэтому не было надобности его зашторивать. Она включила лампу.

– Ты что кричишь, шельмец, пожар, что ли?

– Не баловник я, баба! Ты посмотри, посмотри сюда! – кричал внук и на что-то указывал возле ее кровати. Она склонила голову и увидела трех голеньких крысят. Они лежали рядком и не шевелились.

– Принеси-ка кочергу! – попросила бабушка. И когда Дениска принес железяку, она потрогала ею крысят. Они были мертвы. Капельки крови уже застыли на прокушенных головках.

– Где ты их подобрал?

– Баба, это не я! Они тут лежали!

– Да? А ты говорил, что Муська меня не понимает. Еще как пони-

мает! Видишь, принесла показать, что она отомстила за своих деток. Я всегда говорю, что у животных все, как у людей!

Денис присел рядом.

– Баба, Муська умеет считать? У нее было три котенка и крысят тоже три.

– Наверное, умеет! А где же она сама, наша мстительница?

Бабушка по всей квартире включила свет, обошла укромные места, заглянула в подполье, но кошки не было.

– Странно! – удивилась баба Зина. – Откуда же она их принесла? Похоже – с улицы, но дверь была закрыта. Денис, ты дверь ненароком не открывал ночью или утром?

– Нет, баба! Я как встал с постели, увидел крыс, так тебя и разбудил. Чего бы я три раза вставал с кровати!

– Верно, внучек! – закивала головой бабушка. – Не в кошелке же Муська несла свою добычу, а в зубах, значит, по одному. Но как она прошла в дом?

Это была загадка, которую Торопова хотела бы отгадать.

После завтрака она спустилась в подполье. С помощью фонарика тщательно обследовала все помещение, особенно углы, переставляла банки, но дыру, через которую кошка могла бы пролезть, не нашла, и Муську тоже. Денис ходил следом и помогал бабушке там, где она не могла просунуться.

– Не с потолка же свалились крысята, – вслух размышляла баба Зина, – да нет, ясно же, что их принесли и положили. Чертовщина какая-то!

Она была довольна тем, что в доме находился внук, живой свидетель необычной истории, в которую еще не все и поверят, если рассказать кому-то.

Спать легли около полуночи. Перед сном баба Зина и Дениска выходили на улицу и звали Муську домой. Гавкала Астра, словно тоже призывала подружку. Обездоленная кошка домой не пришла. Спать легли без нее.

И опять у бабы Зины сон не получился. Только задремлет и тут же проснется: кажется ей какой-то шорох. Включит лампу или посветит фонариком, но – никого. Денис дышал спокойно и видел, наверное, десятый сон. Смерть котят сильно расстроила мальчишку. Осознавал он и свою вину в их гибели. Бабе Зине было жаль внука. Но мертвые крысята подействовали на внука в другом направлении, он успокоился, может, потому, что свершилось возмездие.

Вот такие мысли одолевали бабу Зину при ночном бодрствовании. Когда во дворе слышался лай Астры, Торопова открывала дверь и звала Муську, но та словно пропала.

Утро опять началось с крика внука:

– Баба, Муська вернулась!

Бабушка с трудом открыла глаза, сказались усталость и бессонница.

– Где она?

– Да вон же, у тебя на кровати!

Хозяйка приподнялась и в ногах увидела свою красавицу, она спала, свернувшись клубком и спрятав нос в шерсти.

– Ах ты, Господи! Вернулась наша голубушка, и холод с собой принесла!

Кошка не пошевелилась и не открыла глаза.

– Какой холод! – удивился Денис.

– Примета такая есть: если кошка прячет нос, будет холодно. Баба Зина осторожно, чтобы не разбудить Муську, вынула ноги из-под одеяла, опустила их на пол, испуганно вскрикнула и подняла ноги. Возле кровати, с перекушенной шеей, лежала огромная рыжая крыса, на которую она наступила. Денис вскочил с дивана и с удивлением начал ее рассматривать.

– Баба, она почти как Муська, только хвост голый.

Кошка пошевелилась и еще глубже спрятала свой нос.

– Быть морозу! – весело сказала баба Зина и нежно ее погладила. Муська повела ушами, но глаза не открывала.

– Мстительница ты наша! – уважительно говорила хозяйка, продолжая поглаживать любимицу. – Как же ты могла доверить своих детей крысе, коварному зверю? Прямо как в сказке про глупого мышонка.

Денис тоже протянул руку к кошке, но бабушка придержала его:

– Не тревожь, устала она! Не легко было справиться с такой противницей. – Баба Зина тапочком перевернула рыжую разбойницу. – Видишь, какова?

Из приоткрытого и окровавленного рта хищницы торчали крупные и острые, как долото, зубы.

– Интересно, – продолжая рассматривать кошачью добычу, сказала хозяйка, – отчего же она рыжая? Смесь какая-то? И почему Муська терпела ее: то ли боялась, то ли дружба у них была.

Баба Зина опять пошевелила бездыханное тело.

– Соски, как у нашей кошки! Детная мать. Хоть и крыса, а жалко. Нет, Муська не боялась разбойницу, иначе не оставила бы своих детей там без присмотра. Наша пострадала за свою доверчивость, а крыса поплатилась за вероломство. Все как у людей!

Баба Зина завернула крысу в газету, набросила на себя пальто, на голые ноги обула валенки, укуталась шалью и вынесла тело погибшей на помойку, туда, где уже лежали посиневшие крысята.

После завтрака собралась в магазин купить свежего молока для победительницы. Забрала с собой и Дениса, чтобы он не тревожил кошку. Всем нужен хороший отдых.

– Вот и думай, есть у животных разум или у них одни рефлексy, – размышляла вслух баба Зина, вспомнив какую-то телевизионную передачу о рефлексax.

Через два дня приехала Денискина мать, чтобы забрать сына домой. С большим интересом она слушала рассказы своей матери и Дениски о гибели котят и о страшной мести осиротевшей Муськи. Всем хотелось погладить кошечку и посочувствовать ей. Больше других старался Дениска, но когда он подходил к Муське, она поднималась и уходила от него. Кошка не желала его ласки.

И опять баба Зина удивилась:

– Надо же, не может простить Денису! Все понимает, шельма, как человек, только не разговаривает! А еще сомневаются, есть ли у животных разум!

Снова, уже все вместе, осмотрели помещение дома, слазили в подполье, но никакого лаза не нашли. Так и осталась нераскрытой тайна: откуда и как принесла Муська в дом крысу и ее детей.

...Через месяц Муська потерялась. Дул февральский ветер, поземка замела все следы на огороде и возле дома. Баба Зина обошла соседей, за-

шла и к Верке--коммерсантке, никто не видел красавицу Муську. Верка приняла бабу Зину любезно, даже чай поставила и рюмочку налила. Про кошку она сказала:

– Стоит ли убиваться о какой-то твари! Да их сейчас, бездомных, столько бродит, возьми любую!

Верка не высказала никакого сочувствия соседке и быстро перевела разговор на ее усадьбу, которую все равно скоро снесут, а она, благодетельница, желает искренне помочь бабе Зине. Торопова поблагодарила за угощение, которое осталось на столе нетронутым, и с тяжелым сердцем ушла домой. Подумалось ей: «Не Верка ли приложила руку?»

Приезжал Дениска. Баба Зина достала ему старые лыжи и попросила пройтись по огородам, заглянуть в рощицу, не лежит ли где мертвая Муська, ведь ее могли и собаки загрызть, бродячих и голодных теперь много, как и обездоленных людей. Денис долго топтал лыжню по огородам, но все напрасно.

О том, что Муськи уже нет в живых, баба Зина не сомневалась, никогда она не отсутствовала дома столь долго, тем более зимой. И Астра вела себя беспокойно: лаяла без причины, подвывала, рвалась с цепи, раньше такого не было. Она словно хотела что – то сообщить, но ее не понимали, и она начинала скулить от обиды и бессилия. Однажды, когда Торопова отстегнула цепь, Астра вырвалась и мгновенно, в два прыжка, перемахнула через засыпанный снегом заборчик и умчалась в огород. Через минуту оттуда послышался ее жалобный вой.

Баба Зина проторила дорожку до собаки, которая гребла снег лапами. Когда женщина добралась до того места, набрав полные валенки снега, она увидела окоченевший труп своей любимицы. Следов насилия и крови не было.

– Надо же, – опять с удивлением подумала баба Зина, – не иначе с горя умерла. Сердце у бедняжки не выдержало. Все как у людей!

Она завернула Муську в тряпицу, уложила труп в ящик из-под посылки и закопала в снег возле дома до весны, чтобы потом предать тело земле. «И кошка должна быть похоронена, как подобает живому существу. Все мы дети Божии,» – думала она с горечью.

Когда Дениска приехал на выходные дни, баба Зина рассказала ему, как Астра нашла Муську. Денис упросил бабушку показать ему место, где она закопала кошку.

Он разрыл снег, достал ящик, развернул тряпки и убедился сам в подлинности смерти Муськи. Снова завернул ее, уложил в ящик и закопал в снег. На этом месте он воткнул палочку. А потом весь воскресный день что-то пилил, стругал и колотил. На бабушкины вопросы отвечал односложно и ничего конкретно.

В воскресенье, под вечер, Дениску забрали домой. А в понедельник днем баба Зина по какой-то надобности заглянула в огород и удивилась. На том месте, где была зарыта Муська, стоял небольшой крест, на дощечке неровными печатными буквами было написано:

ПАХАРОНИНА МУСКА

И снова удивилась баба Зина тому, что мальчишка-первоклашка, почти малыш, страдает, как взрослый, понимая, что и он вроде стал виновником смерти.



Всю свою долгую и плодотворную жизнь Мария Леонтьевна Халфина посвятила работе с книгой. В ней счастливо уживались библиотекарь, писатель и воспитатель.

Эта публикация посвящена 100-летию со дня рождения Халфиной и двадцатилетию со дня ее кончины.

ДОБРОТА ТВОРИТ ЧУДЕСА

Уже третий год я участвую в краеведческом конкурсе «Люби и знай свой город и край», который проводит Дворец творчества детей и молодежи города Томска (руководитель программы Л.Л.Кондрашова, координатор – И.С.Евжик). В этом году мы изучали творчество томских писателей. На этот раз нам было предложено письменно рассказать о произведении одного из томских авторов. Я выбрала повесть Марии Халфиной «Мачеха». И тут произошло удивительное. Заметив у меня книгу Халфиной, мама спросила, что меня привлекло в ней. Я рассказала про конкурс, про то, какое сильное впечатление на меня произвела повесть «Мачеха». Мама же в свою очередь поведала мне о том, что моя бабушка была лично знакома с Марией Леонтьевной. Я очень заинтересовалась этим и буквально на следующий день сидела перед бабушкой и с замиранием сердца слушала её рассказ.

Вот что она мне рассказала:

«Когда мне было лет тринадцать, к нам в посёлок Моряковку приехала новый библиотекарь, с виду очень бойкая женщина. Она прибыла на катере. В нём кое-как умещались книги, которые она привезла. Их было не менее двух тысяч.

На следующий день Мария Леонтьевна пришла к нам в школу и объявила, что теперь у нас будет библиотека, а расположится она в здании парткабинета Моряковского судоремонтного завода, и что все, кто захочет, могут приходить туда и брать книжки, а ещё лучше – приносить свои.

К открытию библиотеки её фонд составлял уже около трех тысяч книг. В библиотеку записались двадцать ребят, среди них, конечно, была и я, так как очень любила читать.

В маленькой комнатке всегда было тесно: многие полюбили библиотеку и саму Марию Леонтьевну. Мы даже с уроков порой сбегали, чтобы пойти и почитать.

Вскоре начали строить отдельное здание. Деньги и рабочие кадры, конечно же, выделялись, но в основном библиотека была построена силами жителей посёлка. Стройка продолжалась около шести месяцев, и все очень радовались открытию новой, просторной и по-прежнему очень любимой библиотеки.

Мы, поселковые ребята, стали называть библиотеку «Терем-теремок», потому что здесь всегда было весело, хорошо, как в любимом доме. В библиотеке отмечали все праздники. Она стала своего рода культурным центром посёлка.

А как мы радовались, когда наша библиотека получила звание лучшей библиотеки РСФСР! Случилось это в ноябре 1958 года. Мария Леонтьевна организовала у нас в посёлке хор пенсионеров, народный театр, в котором, кстати, и я играла. Она почти всегда сама писала сценарии, сама придумывала слова к песням. Трижды мы избирали ее в Моряковский поселковый Совет депутатов трудящихся.

Года через два, после того как я уехала из Моряковки, мои друзья рассказывали, что они ходят в кружок при библиотеке «Юные друзья СССР» и ведут переписку с сотрудниками народной библиотеки города Кладно в Чехословакии, регулярно обмениваются книгами, своими разработками и другими подарками.

В 1955 году библиотека получила в дар от Антонина Запотоцкого, в то время президента ЧССР, его роман «Красное зарево недр Кладно» с дарственной надписью «Работникам и читателем городской библиотеки Моряковки в честь дружбы и сотрудничества с кладненцами. Прага».

Иногда, заходя в библиотеку, мы заставляли Марию Леонтьевну сидящей за рукописью. Но она не говорила, что пишет. И только в 1957 году, когда была издана книга «Библиотека Моряковского Затона», я узнала, что она писала про нас.

Мария Леонтьевна осталась в моей памяти как очень добрый, лучезарный человек, готовый в любую минуту прийти на помощь».

Впоследствии моя бабушка по примеру Халфиной тоже стала библиотекарем. Более 30 лет она проработала в селе Чердаты Томской области в этой почетной должности.

Но самое замечательное то, что и моя мама любит книги Марии Халфиной. Я задала ей несколько вопросов:

– Какое произведение Марии Халфиной у тебя любимое?

– Знаешь, доченька, – ответила она, – любимого произведения, как такового, у меня нет, но наибольшее впечатление произвела, конечно, повесть «Мачеха». Это было первое произведение Марии Леонтьевны, которое я прочитала. И фильм мне очень понравится. Я смотрела его несколько раз и каждый раз находила в нем что-то новое, важное, отвечающее моим мыслям и чувствам.

– Мам, а как ты считаешь, можно ли Марию Халфину назвать большим писателем?

– Думаю, можно. Ведь если книги автора читают три поколения и восхищаются его работами, то это большой писатель. Большой потому, что смог найти ту проблему, которая не теряет своей актуальности уже многие годы, и, я думаю, эта проблема будет жить всегда, – проблема человеческих отношений...

А вот мое впечатление от прочитанного. Меня поразила, в первую очередь, Шурка, с виду очень простая, не отличавшаяся особыми достоинствами молодая женщина. Но в сложной семейной ситуации она ведёт себя мудрей и отважней, чем её муж, которого все считают очень умным и трезвомыслящим. По-моему, эта повесть в первую очередь о добре, о

том, что ко всем надо относиться по-доброму, с любовью, даже если не видишь никакой отдачи. Ведь со временем даже самые твердые оболочки человеческой души дают трещины. И если в них хоть чуть-чуть просочится любовь и доброта, то человек меняется. Ведь доброта творит чудеса!

*Лиза Соловьева,
ученица школы № 32 г. Томска*

Михаил КАРБЫШЕВ

Стихи в честь М.Л. Халфиной.

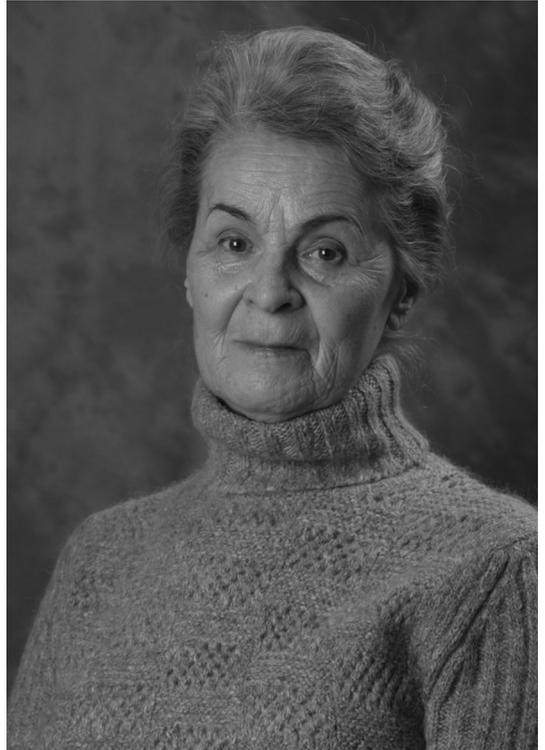
Ветер дует с большой реки,
До Шегарки дорога скатертью.
Там в приюте живут старики,
Ты им стала не мачехой – матерью.
Там прошедшей войны герой
И герои полей, заводов...
Ты стояла за них горой,
Опекала их многие годы.
Прибывала «семья» у них
И теснились в покоях палатных:
Это дети отцов своих,
Матерей своих «ненаглядных»
В «богадельню» везут, везут
По той самой дороге – скатерти.
В самый раз бы тут Божий суд
За горючие слезы матери...
Пережито – ах, Боже мой!
Сколько собственных-то болячек! -
Но где Вы – там и правый бой,
Завершающийся удачей.
Всем дала доброты своей,
При такой вот внешней суровости.
Это качество у людей
Называется Чистой Совестью.
Да хранит Вас и дальше Бог,
Повесть жизни еще не кончена.
Сто путей Вам и сто дорог,
Дорогая Мария Леонтьевна!

1978

Тамара КАЛЁНОВА, Сергей ЗАПЛАВНЫЙ ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ, К ИСТОКУ...

О хорошем, да еще очевидном, рассказывать трудно. Хорошие поступки, как правило, не выпячиваются, а хорошие люди скромны. Они будто сговорились выполнять наказ древнего философа Эпиктета: проживи незаметно.

Римма Ивановна Колесникова – необычайно скромный человек и одновременно заметная и неповторимая личность в томском мире науки, образования, культуры и литературы. И в этом главное не-противоречие и привлекательность ее характера, ее судьбы. Более полувека она воспитывает поколение за поколением молодых людей – сначала школьников, затем студентов Томского государственного университета. Доцент, кандидат филологических наук, литературовед. «Стройная, элегантная, с благородной осанкой,



мудрая и спокойная, очень деликатная и неизменно доброжелательная со всеми... С ней невозможно спокойно пройти по университетским коридорам или городским улицам – обязательно кто-то окликнет, радостно поприветствует, остановит», – так пишут и отзываются о ней ее ученики, ставшие преподавателями, учеными, командирами производства – и тоже хорошими людьми.

Много лет мы знакомы с Риммой Ивановной. Слушали ее содержательные, глубокие по мысли и широкие по охвату исторического и литературного материала лекции, подолгу беседовали, «перескакивая с пятого на десятое», не замечая летящего времени. Так происходило и 5, и 10, и 40 лет назад. Так продолжается и сегодня. Римма Ивановна похожа на источник, из которого чем больше черпаешь, тем быстрее он наполняется. Главными же темами наших собеседований оставались Сибирь, сибирская литература, сибирская интеллигенция... На эту забуранный временем, порой непроезжую и даже топкую дороженьку неизменно сбивались наши разговоры; случалось, и жарко спорили, но чаще впадали в единомыслие.

– Природно-географическая среда формирует человека, – говорит Римма Ивановна. – А также исторические обстоятельства – малая заселённость, оторванность от «большого мира», многовековая участь земли «каторги и ссылки», – всё это, безусловно, подвигало писателей прошлого на исследование сибирского характера. Этот поиск не прекращается и в наши дни, на фоне современного и жертвенного удела Сибири служить «кладовой несметных природных богатств», хотя, учитывая состояние нынешней литературы, этот поиск не так явственен, заметен. Но он есть. Потому что «Сибирь по-прежнему холодна и огромна», а жизнь и образы ее обитателей существенно отличаются от, скажем, жизни тех же донских казаков, о которых в такой убедительной художественной форме поведал миру Михаил Шолохов. Да, конечно же, она существует, сибирская литература...

Ее убежденность покоряет. А если учесть, что об этом говорилось еще в 70-е годы минувшего века и даже раньше, когда среди литературоведов и особенно критиков господствовала мысль «о едином литературном процессе», а речи о сибирской литературе и сибирском характере воспринимались, как некий «сепаратизм», то эта убежденность становится провидческой. Она укрепляет веру и в собственное творчество. Значит и наши помыслы не зря, местные особенности действительно существуют, они чрезвычайно важны и жизненно необходимы, и надо только поярче и убедительнее о них рассказывать и продолжать исследовать этот трудноуловимый, но такой притягательный «сибирский характер»...

Знаем, что Римма Ивановна подобную моральную, духовную поддержку оказывала и продолжает оказывать многим молодым и уже немолодым томским авторам. Читает множество рукописей, пишет предисловия, участвует в обсуждениях, читательских конференциях, посещает художественные выставки, спектакли, филармонические концерты. Много лет помогает выпускать писательские журналы, в прежние годы, – «Сибирские Афины», а теперь «Каменный мост» и «Начало века». Входит в их редакционные коллегии, публикует авторские работы, рецензирует произведения местных литераторов. При ее участии издавались книги серии «Писатели земли томской» (Вяч.Шипков, В.Обручев и другие).

Сибирская литература существует... И Римма Ивановна Колесникова ее прямой участник. Она и сама писатель. Ее произведения – очерки, литературные портреты, эссе – созданы и продолжают рождаться на удивительном пограничном поле, где наука и литература соседствуют так тесно – до переплетения! – что их бывает трудно разделить. Как полевые цветы. (Римма Ивановна более всего любит полевые цветы). Ее произведения: «В книге судеб ошибок не бывает» (2005 г.), и дополненное издание (2007 г.) читаются на одном дыхании. Чистый и образный язык. Увлекательные и разнообразные, как сама жизнь, сюжеты. Неповторимые лики на литературных портретах «замечательных людей, представленных в томском окружении», – В.А. Обручева, В.П. Астафьева, В.Н. Наумовой-Широких, Е.П. Макушиной, Л.А. Пановой, Р.С. Ильина, ученого-фантаста А.П. Казанцева, Н.Ф. Бабушкина, Ф.З. Кануновой, В.В. Лобанова... А еще публикации в журналах и сборниках о

поэте-лирике томиче Василии Казанцеве, докторе наук, лингвисте Вере Владимировне Палагиной...

Как литературовед Колесникова известна далеко за пределами Томска. Участник многих научных конференций, специалист по сибиреведению (новая отрасль знаний, появившаяся-таки в последнее время!), она является соавтором многотомного труда АН СССР «Очерки русской литературы Сибири». Ее имя с уважением произносят ученые во многих городах Сибири и Дальнего Востока. За ней закрепилось негласное и почетное звание: первооткрыватель. Как в геологии – первооткрыватель такого-то месторождения...

Она действительно сделала открытие: работая в архиве, обнаружила забытую и считавшуюся утраченной рукопись ныне знаменитой повести «Щепка» Владимира Яковлевича Зазубрина (1895–1938). Во многом благодаря ей имя автора первого сибирского романа-хроники о Гражданской войне в Сибири («Два мира», 1921, предисловие М. Горького) вновь оказалось в поле зрения ученого мира и в зоне читательского внимания. «Щепка» Зазубрина – в многочисленном ныне отряде произведений, посвященных репрессиям тридцатых годов, пожалуй, самая первая. В разные годы честь ее открытия ошибочно приписывалась разным людям. Но это сделала наша Римма Ивановна, и это признано в ученых кругах.

Второе имя, восставшее из глухого забвения благодаря ей же, – Федор Иванович Тихменев (1890–1982). Писатель, критик, журналист, педагог, литературно-общественный деятель, первый «кадровый» писатель Томска, организатор литературной жизни в нашем городе в начале тридцатых годов. Его имя на долгое время (22 года) исчезло с литературной карты Сибири. «Судьба бдительно и неуклонно вела его по самым сурово-значимым и трагическим граням», – пишет Римма Ивановна в предисловии к посмертно изданной книге Федора Тихменева «Вторая колея (Через непонятное)» (Томск, 2003). И с научной дотошностью, бережно и деликатно, с привлечением писем и дневников рассказывает о судьбе незаконно репрессированного талантливом сибирском писателе, знавшем Зазубрина и других известных сибирских деятелей, защищавшего Горького от нападок сибирских рапповцев-«настоященцев». Отмечает особые заслуги в выпуске «Второй колеи» профессора математики, писателя, известного в Томске человека, Льва Федоровича Пичурина, восстановившего и подготовившего эту поистине многострадальную рукопись к печати. А о том, что именно она (в содружестве со своей коллегой по ТГУ Сергеем Сергеевичем Парамоновым) открыла имя писателя Тихменева (после возвращения из ссылки он жил в Томске незаметно и замкнуто), долгие годы поддерживала его, стремясь вернуть надломленного писателя к литературному творчеству («Зачем вы меня реанимируете?» – слабо сопротивлялся Федор Иванович), – об этом ни слова.

Когда мы берем в руки «Вторую колею», на ум приходит одно: высокий гражданский поступок. И того, кто писал эту книгу, и тех, кто помог ей обрести новую жизнь на книжной полке. Живые авторы скажут о себе сами, ушедшие и забытые – только и могут рассчитывать на подобные поступки.

Тема социальной несправедливости, «безжалостного процесса уничтожения целых пластов российской культуры, целых ветвей, срезан-

ных с ее литературного дерева жизни», репрессий и нравственного угнетения – одна из главных в научно-художественном творчестве Риммы Ивановны Колесниковой. Объяснять внимание к ней только тем, что семья ее бабушки была сослана с Алтая на томский север, и тем, что семья Комиссаровых (девичья фамилия Риммы Ивановны) всегда жила трудно (голод, нужда, война), – неполно; здесь всё дело в самом складе характера, в главном назначении передовой отечественной интеллигенции – быть вместе с народом, «сострадавая и понимая».

«Счастье в скромности», – учила Римму Ивановну ее мать, поднимавшая в тяжких условиях троих детей и всегда умевшая и успевавшая помочь другим людям. «Свет знаний – вот что нужно народу», – говорил отец, сельский учитель, потерявший здоровье в Гражданскую войну и рано умерший. «Счастье в труде», – молчаливо свидетельствовала сама жизнь человека, заменившего ей отца; обладатель редкой по тем временам профессии радиотехника и доброго нрава, он частенько перевозил семью с места на место; провел радио в глухой деревеньке – и вперед. Так что Римма Ивановна, родившаяся 6 июня 1928 года в поселке Каянча на реке Бии, недалеко от ее истока из Телецкого озера, рано узнала и полюбила «всю Сибирь». Черная фибровая «тарелка» из ее детства, которую устанавливал в сибирских избах ее второй отец (она никогда не называла его отчимом), позвала к знаниям... Учиться хотелось всегда. Эта мечта и привела ее в Томск, в университет.

Источник научного и литературного творчества Риммы Ивановны – труд, каждодневный, неотступный, требовательный, поглощающий. Иногда его называют каторжным. Но к ней это не подходит. Потому что на каторге сумрачно и тяжело, а она живет и творит светло. Возможно, так это происходит потому, что ее день рождения совпадает с днем рождения Пушкина, ее любимого поэта, ее «ангела-хранителя», научающего сеять воздвигающее, а не разрушающее слово.

Русские немцы

Немецкое население появлялось в России и СССР различными путями. В XVIII веке широко практиковалось приглашение в Россию иностранных учёных, военных, дипломатов, деятелей искусства, и многие из них были немцами (что неудивительно, если учесть, что правящая династия Романовых, начиная с Петра III, имела преимущественно германское происхождение). Потомки этих людей зачастую оседали в России, однако в большинстве случаев не сохраняли немецкий язык в качестве основного и немецкое национальное самосознание. В XVIII же веке по приглашению Екатерины II произошло переселение немецких крестьян (так называемых колонистов) на свободные земли Поволжья и Украины — многие из этих крестьянских семей оставались в местах своего первоначального компактного проживания на протяжении более чем полутора столетий, сохраняя немецкий язык (в законсервированном, по сравнению с немецким языком Германии, виде), веру (как правило, лютеранскую) и элементы национального менталитета. Исходным пунктом миграции немецкого населения по территории России были также окончательно присоединенные к ней в XVIII веке прибалтийские земли, особенно Эстляндия и Лифляндия. Наконец, в 1920-е г. немецкая диаспора в СССР пополнилась некоторым количеством немецких коммунистов, перебравшихся в единственное в мире социалистическое государство.

По состоянию на 1913 год в Российской империи жило около 2 400 000 немцев.

Основную часть нынешнего немецкого населения России и стран СНГ составляют прежде всего потомки немецких крестьян-колонистов. История их формирования охватывает период с XVIII по XX вв. Основными местами расселения являлись среднее и нижнее Поволжье, северное Причерноморье, Закавказье, Волынь (северо-запад Украины), с конца XIX в. — Северный Кавказ и Сибирь. В силу их территориальной разобщенности и различных особенностей исторического и этнического развития в среде российских немцев сформировался ряд этнических (локальных) групп — поволжские немцы, украинские немцы (выходцы из Причерноморья, зачастую разделяющие себя по конфессиональному признаку на лютеран и католиков), волынские немцы, бессарабские немцы, кавказские немцы (или швабы, по месту своего выхода из Германии — Швабии, или Вюртембурга) и меннониты (особая этноконфессиональная общность). Представители различных этнических групп немецкого населения долгое время имели и сохраняли особенности в языке, культуре, религии, быту — говорили на своих, зачастую значительно различающихся, диалектах, праздновали по особому народные и религиозные обряды и праздники — Рождество, Пасху, Троицу, Праздник урожая, Праздник забоя скота (Schlachtfest) и др. В настоящее время многие различия уже стерлись, у большинства молодого поколения немецкого населения России и других стран СНГ родным языком является русский.

Немцы в СССР

В первые десятилетия Советской власти возрождение национальной идентичности российских немцев приветствовалось, что привело в 1918 г. к образованию одной из первых национально-территориальных автономий на территории Советской России – Трудовой коммуны автономной области немцев Поволжья, в 1922 г. переоформленной в Автономную Советскую Социалистическую республику немцев Поволжья со столицей в городе Покровск (позже Энгельс). По мере обострения отношений между СССР и Германией быть немцем в СССР становилось всё более небезопасно: в конце 1930-х г. за пределами АССР НП были закрыты все национально-территориальные образования – немецкие национальные сельсоветы и районы, а школы с преподаванием на родном немецком языке переведены на русский. С началом Великой Отечественной войны началось насильственное перемещение российских немцев в отдаленные регионы страны (Казахстан, Узбекистан, Сибирь) с ликвидацией немецких школ и техникумов, библиотек, изданий и т. п.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. АССР немцев Поволжья была упразднена, а ее территория включена в состав Саратовской и Сталинградской (позже Волгоградской) областей. Немецкое население ликвидированной АССР НП в полном составе было депортировано в Сибирь и Казахстан. Вслед за немцами Поволжья подверглось массовой депортации и остальное немецкое население еще не оккупированной территории Европейской части СССР. В истории российско-немецкого народа дата 28 августа навсегда стала трагической датой Памяти и Скорби.

В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой национальности были отправлены с фронта в тыловые части. В сентябре же 1941 г. было предпринято поголовное выселение немецкого населения из районов их компактного проживания. Для этой цели заранее (по воспоминаниям жителей АССР НП, еще 26 августа) на территорию АССР НП были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение недели подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Скот должен был быть отвязан, двери в сараях, ворота должны быть открытыми. Дома не закрывать на замки. В телячьих вагонах, практически без длительных остановок в пути, немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.

С начала 1942 года мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизованы в так называемые рабочие колонны, позже получившие название трудармии. Трудармия была расформирована только в 1947 году. Выжившим немцам разрешалось вернуться в места выселения: Урал, Сибирь, Казахстан, где находились их родственники. До 1956 года все без исключения немцы в местах своего проживания находились на спецпоселении и вынуждены были отмечаться ежемесячно в комендатуре. Они не имели права без разрешения коменданта покидать территории проживания, за нарушение режима спецпоселения им грозило наказание вплоть до 25 лет каторжных работ.

В последующий период политика советского государства по отношению к немцам носила ассимиляционный характер.

Немцы и постсоветская Россия

После посещения СССР в 1955 г. первым канцлером Германии К. Аденауэром и подписанием ряда межправительственных соглашений с советскими немцами был снят режим спецпоселения и начался процесс переселения немцев в Западную Германию. Первоначально он шел под лозунгом воссоединения разорванных в годы войны семей. В это время выезжало от нескольких десятков до сотен человек. Ситуация изменилась после принятия закона СССР «О въезде и выезде» в 1986 г. Массовый выезд немцев с территории бывшего СССР в Германию начался в 1989 году, когда стали выезжать по несколько десятков тысяч человек в год (пик в 1994 г. — 213 214 человек), что значительно истощило долю немецкого населения в России, на Украине, в Казахстане и других странах. В общей сложности более 3 миллионов русских немцев переселилось в конце XX века в Германию, что составило вместе с другими переселенцами из стран бывшего СССР в Германии более чем 5%-ную русскоговорящую составляющую населения Германии.

В 1990-х г. во многих крупных городах России и в местах компактного проживания российских немцев созданы Центры немецкой культуры, в которых при содействии правительства ФРГ реализуется программа «Брайтенарбайт» («Расширенная работа»), образованы два немецких национальных района (с центрами Гальбштадт в Алтайском крае и Азово в Омской области), реализована немецко-российская программа Нойдорф-Стрельна по созданию коттеджного поселка российских немцев в пригороде Санкт-Петербурга — Стрельне, образована Федеральная национально-культурная автономия «Российские немцы».

В начале XXI века, согласно переписи населения, в России проживали более 597 тысяч немцев. Из них 340 тысяч — в городах.

Т.Б. ИОГАНЗЕН-РЮБКЕ

СИБИРСКАЯ ДИНАСТИЯ: ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ ИОГАНЗЕН

Мой прадед, а затем и дед приехали в Сибирь совершенно добровольно, по зову сердца, из центра России. Приехали с целью просветительской, с огромным творческим потенциалом и жаждой деятельности, не рассчитывая на большие заработки, а, скорее наоборот, хорошо представляя себе все тяготы жизни в российской глубинке, и, тем не менее, пленяясь возможностью огромной свободы деятельности. Хочу рассказать о трех поколениях семьи Иоганзен: прадеде, деде и моем отце.

МОЙ ПРАДЕД



Мой прадед Генрих Эдуард Иоганзен (1831–1912) был родом из Эстонии. Поскольку Эстония только в конце 18-го века была включена в состав Российской империи, а до этого принадлежала Швеции, мы предполагаем в нем шведские корни. Будучи немцем, но русским подданным, он в течение пяти лет изучал теологию в Дерптском (Тарту) университете, где все обучение и делопроизводство велось на немецком языке, получая королевскую стипендию. Вследствие этого он был обязан после окончания университета «нести три года службу лютеранского пастора в Сибири или четыре года в России». После полуторагодовой служ-

бы в церквях Санкт-Петербурга и Москвы, в 1860 году он получает место пастора евангелическо-лютеранской церкви в Омске, а точнее в колонии Рыжково, материнской колонии всех сибирских лютеранских поселений, имевшей самую дурную славу. Население колонии состояло сплошь из ссыльных в 1803–1840-х годах эстонцев, латышей и финнов. Однако такое разноязычие вверенных ему прихожан не доставляло молодому пастору никаких трудностей. Его образование оценивалось настолько высоко,

что он получил официальное право вести церковную службу не только на немецком, но также на эстонском, латышском и финском языках; кроме того, он владел греческим и еврейским. Помимо этого, он еще «вынужден был по настоятельной просьбе колонистов взять на себя полномочия судьи». Положение дел он сам описывает так: «Пока я был в колонии, в ней царил наилучший порядок. Как только я уехал, все понеслось к чертям».

Неустанная деятельность, полная «лишений и страданий всякого рода, вследствие антисанитарии и насекомых, холода или жары, скудного питания, бессонных ночей, непроезжих дорог и неудобного транспорта» не выбивали неутомимого пастора из колеи. Нищета населения, однако, удручала его настолько, что в конце концов он обратился к генерал-губернатору округа с просьбой нарезать сосланным поселенцам земельные наделы из коронных земель. «Здесь на берегу Оби, на расстоянии 8–9 верст (одна верста соответствует 1 066 метрам) я заложил четыре деревни, латышскую, эстонскую, одну для финских крестьян и одну для финских сосланных. Официально эти четыре деревни были названы Ревель, Рига, Нарва и Гельсингфорс».

Пастор Эдуард Иоганзен прослужил в Сибири не три положенных года, а почти восемь лет. Его деятельность в Сибири, охватывающая сначала Омский округ, а позднее и всю Тобольскую губернию, включая киргизские степи, где он проводил в поездках по колониям и деревням по ужасающему бездорожью, в тарантасах более 200 дней в году, оценена как деятельность выдающегося подвижника. Подробнее о жизни пастора в Сибири можно прочитать в статье его правнучки доктора Эрики Фогт: «Если бы все служители церкви были таковыми. Эдуард Иоганзен, пастор евангелическо-лютеранской церкви в Сибири». Все вышеупомянутые цитаты заимствованы из данной статьи.

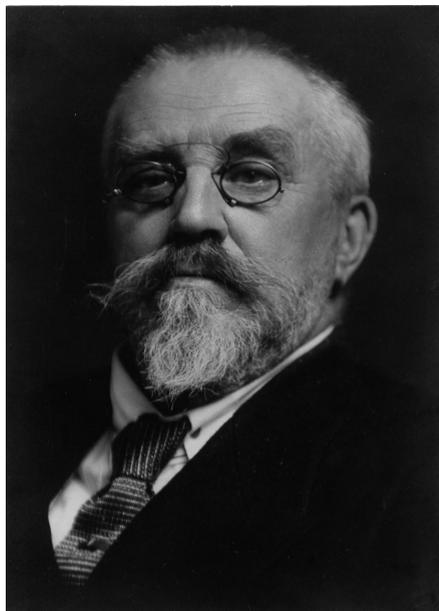
После пяти лет своей успешной службы в Сибири пастор Иоганзен в 1865 году женился на коренной жительнице Петербурга, немецкой дворянке Маргарете фон Буш, которая точно так же, как героические жены русских декабристов в 1825 году, отважно последовала за своим мужем в Сибирь, непосредственно в места проживания ссыльных поселенцев. В 1866 году в Омске родился их первенец – сын Герман, а два года спустя семья пастора Иоганзена покинула Сибирь. С 1870 года пастор Иоганзен в течение 36 лет возглавлял лютеранскую общину в Твери, и за свою неустанную самоотверженную деятельность был награжден многочисленными царскими орденами и медалями, которым он, однако, никогда не придавал никакого значения и надевал их только по принуждению. В конце жизни, наконец, исполнилось его самое заветное желание: собственными глазами он смог увидеть страну своих мечтаний, землю обетованную – Германию, проехать ее вдоль и поперек. Далее, как сообщает в Библии его сын Герман: «Глубоко взволнованный, он поцеловал немецкую землю!». Затем он совершил путешествие в Швецию, для того чтобы возложить на саркофаг короля Густава Адольфа, «его собственного короля», как он называл его в письме, розу в знак своего глубокого почтения.

В счастливом браке пастора Иоганзена родились пятеро детей: два

сына и три дочери, из которых, в конечном счете, только старший сын Герман смог передать фамилию Иоганзен своим четырем сыновьям. Последние шесть лет жизни пастор провел в Павловске, где время от времени еще вел службу. В круг его общения входили также Великие князья из императорского дома. Как память о пасторе в нашей семье хранится не только его уникальная Библия, но и драгоценное золотое кольцо с редкой разновидностью граната; считается, что это подарок Великих князей. Пастор Эдуард Иоганзен умер в 1912 году от воспаления легких в доме своей дочери Эрики.

МОЙ ДЕДУШКА

Самым старшим из пятерых детей пастора Эдуарда Иоганзена был мой дед Герман Эдуардович (1866–1930), родившийся в Омске и поступивший, как и его отец, в Дерптский (Тарту) университет. Однако его интересы были весьма далеки от теологии. Он закончил отделение естественных наук физико-математического факультета по специальности «Зоология» и по окончании его получил золотую медаль за исследование развития сложного глаза бабочки „*vanessa uerticae*“. Это была первая золотая медаль, которой удостоился научный труд по зоологии в университете Дерпта. Бабочке Герман Иоганзен дал название «Маргарета» в честь своей очень рано умершей матери. Университет он закончил с научной степенью кандидата зоологии, а два года спустя он сдал магистерский экзамен. Свою научную работу он продолжил в Москве, руководя частной биологической станцией Абрикосова.



После своего блестящего доклада на Втором международном зоологическом конгрессе в Москве в 1892 году, который был сделан на французском языке, Герман Иоганзен получает много предложений для работы в Европейской части России. Однако он подает прошение на получение должности в недавно открывшемся Томском университете в Сибири.

Что это было? Юношеский романтизм, наивность, жажда самостоятельности. Нам, сегодняшним, этого никогда не понять, когда молодой, красивый, блестящий ученый, обладающий к тому же огромным трудолюбием, вдруг по необъяснимым причинам уезжает из Подмосковья, где у него есть постоянная работа, где печатаются его научные труды – результаты 11-летних орнитологических наблюдений, где в Твери живут его престарелый отец, три сестры и брат. Едет не куда-нибудь, а в Томск,

который, по словам А.П.Чехова, сказанным о городе именно в это самое время, — «город нетрезвый, а женщины в нем похожи на замороженную рыбу». Так или иначе, но он порывает с теологией, спорит с отцом и даже повторяет убежденно в одном из своих писем известный лозунг «Религия – это опиум для народа».

Герман Иоганзен отправлялся в далекий Томск, наивно полагая, что его научных степеней достаточно для получения университетского места. Однако места не оказалось, и молодой ученый вынужден был долгое время преподавать немецкий язык, физику и естественные науки в Томском Алексеевском реальном училище и Технологическом институте. В свободное время и по личной инициативе он работал в зоологическом музее университета, обрабатывая свои сборы и музейные коллекции. Только в праздники, во время каникул и отпусков он мог заниматься любимым делом – изучением животного мира окрестностей Томска, а также предпринимать экспедиции на Алтай, в Барабу, Семипалатинскую область и другие поездки по Западной Сибири. Лишь в 1899 году он, наконец, получает должность сверхштатного преподавателя кафедры зоологии, а в 1907 году – должность консерватора зоологического музея университета. В это время он получает командировки за границу: в Париж, Берлин, Йену, Бонн, Кельн, Будапешт, позднее – в Манчжурию.

В это время самая младшая сестра Германа Эдуардовича Эрика очень удачно выходит замуж за выдающегося архитектора Санкт-Петербурга Карла Шмидта, вошедшего впоследствии со своими архитектурными шедеврами во все российские учебники по архитектуре. К. Шмидт входил в десятку самых успешных архитекторов страны, создав такие значительные произведения, как постройки для завода Лесснера, фабрики шведской фирмы Эрикссон, фирмы Кениг, для фирмы братьев Нобель, Невской мануфактуры, а также шедевры архитектуры – Дом ювелирной фабрики Фаберже, дворец графа Строганова, дворец Великого князя Павла, женский Александринский приют, доходный дом и многие другие постройки в Петербурге. Его жена переезжает в Петербург; семья вращается в светском обществе заказчиков К. Шмидта, в том числе, Великих князей, в кругу высокопоставленных особ столицы. Сам великий ювелир Карл Фаберже – кузен Карла Шмидта – входит в его ближний круг! Не открывалась ли тем самым для талантливого Германа Иоганзена счастливая возможность для научной работы в одной из столиц? Но нет, у Германа не возникает даже мысли о возможности протекции. По-прежнему он остается в ставшей ему родной Сибири; женится в Дерпте на немке Аделе Штехер и, как и его отец, привозит свою жену в Томск. Становится счастливым отцом трех сыновей, преподает анатомию позвоночных животных, немецкий язык, естествознание, ведет научную работу и ждет места доцента университета.

Главной темой его научных исследований становится орнитология. Первым в Сибири он начинает в 1912 году заниматься кольцеванием птиц немецкими кольцами, что позволило узнать места зимовки томских птиц. В своем загородном доме в Городке (Тимирязево), где Иоганзен жил с

семьей постоянно с 1916 по 1925 годы, он организовал метеорологическую и биологическую станцию, где продолжал свои систематические наблюдения, так что, в общей сложности, вел их в течение тридцати лет. Всегда в его доме желанными гостями были студенты, аспиранты и профессора; но и простым людям – охотникам, рыбакам, крестьянам, рабочим всегда был открыт доступ в дом. Зимой он добирался в университет в лошадиной упряжке по льду через Томь; летом – на лодке.

Только в 1915 году Герман Иоганзен становится первым ассистентом зоологии в Томском университете, а в 1921 году — профессором сравнительной анатомии и зоологии позвоночных животных. В 1927 году Герман Иоганзен причисляется к группе «А» — «выдающиеся ученые». Именем его названы несколько новых форм животных.

Однако его способности не ограничиваются только наукой. В свободное время дедушка писал маслом прекрасные картины, которые и сегодня украшают стены наших квартир, делал альбомные зарисовки, увлекался фотографией, оставив многочисленные альбомы экспедиционных снимков и семейных портретов, сочинял стихи на немецком языке. Он был прекрасным охотником и рыбаком. Роскошные рога оленя, лося, горного козла, косули, сохраненные нами, и сегодня вызывают восхищение всех гостей. Но прежде всего он всегда занимался воспитанием и домашним обучением своих четверых сыновей.

Когда три родные сестры Германа Эдуардовича с семьями в 1918–21 гг. эмигрировали в Германию, он единственный из семьи Иоганзенов остался в России, в Томске как патриот своей новой родины Сибири, мотивируя это тем, что «за границей ему просто нечего делать». Последние годы своей жизни он прожил в Томске в «Норвежском доме» — доходном доме Б. Быстржицкого на ул. Красноармейской, 68. В наборе открыток «Россия, Томск. Деревянная архитектура. 2005 год» фотография этого дома опубликована с последующей надписью: «В 20-е годы в этом доме жил профессор зоологии Томского университета, «певец томской природы» Г.Э. Иоганзен».

Умер Г.Э. Иоганзен очень рано, в 1930 году, в возрасте 63 лет, от банального воспаления легких, заработав его зимой в неотопливаемом университете. Как знать, может быть, эта ранняя смерть избавила его от неминуемых репрессий сталинизма, ведь он был: 1) немцем и родной его язык был немецкий; 2) сыном пастора, хранил дома несколько Библий и распятие; 3) имел трех сестер и брата за границей, состоял с ними в переписке, да и сам постоянно выезжал за границу; 4) носил звание дворянина.

Любого из этих пунктов в середине тридцатых годов было бы достаточно для ареста и последующего расстрела, проживи он, хотя бы еще 6–7 лет. К счастью, в тридцатом году до этого было еще далеко.

Герман Эдуардович умер за 25 лет до моего рождения, но светлый образ моего дедушки Германа, которого я не знала, был со мной рядом всю мою жизнь, также как и его огромный портрет, всегда висевший рядом с моим письменным столом. А своего единственного сына я назвала Германом в его честь.

МОЙ ОТЕЦ



Мой папа Бодо Иоганзен (1911–1996) был самым младшим из четырех сыновей профессора Германа Эдуардовича Иоганзена. Поздний ребенок, родился во втором браке профессора, когда тому было уже 44 года, а старшим братьям Бодо — Хорсту, Вольфгангу, Льву было уже 17, 15 и 10 лет соответственно. Он стал и самым любимым в семье, в ущерб остальным детям от другой матери. В семье говорили по-немецки, праздновали немецкое Рождество 24 декабря, красили яйца на Пасху. Однако свободному изъяснению на родном языке приходил конец – в 1914 году началась Первая мировая война. Сохранилось воспоминание в семье, согласно которому в начале войны на встречу с родственниками маленького Бодо везли поездом, строго-настрого запретив ему говорить по-немецки. Это

было смерти подобно, ведь на любом полустанке они могли быть признаны немецкими шпионами и по законам военного времени расстреляны без суда и следствия. Выучив несколько русских фраз, вроде: «Хочу есть, пить» и т.д., малыш неизменно прибавлял: «Habe ich richtig gesagt?» «Правильно ли я сказал?» (нем.) Урок не прошел даром. Впоследствии папа прекратил говорить по-немецки, сознательно не поддерживал навыки, и к 50 годам сохранил только слабое пассивное владение языком, совершенно забыв разговор.

Герман Эдуардович не хотел экспериментировать с революционными школами, поэтому в течение 1918–21 годов он обучал Бодо дома сам по всем предметам. В 12 лет Бодо поступил сразу в 5 класс Единой рабочей школы № 5 Томска. В течение своей жизни мой папа повторял, что официально учиться ему пришлось всего 8 лет, из них 5 лет в школе и 3,5 – в университете. Все остальное было самообразование. Уже с детства Бодо был любознательным, трудолюбивым, интересовался окружающей природой, птицами, но, более всего, рыбами окрестностей. С восьми лет он начал вести первые научные дневники с описаниями природы, рыб, а также в дальнейшем помогал отцу в исследовательской работе.

В 1928 году Бодо Иоганзен поступил на зоологическое отделение физико-математического факультета Томского университета. В 1930 году, когда его отец скоропостижно умер, Бодо было всего 19 лет. Брат Вольфганг, опубликовавший ряд статей по орнитологии, был убит в 1919-м на фронте. Второй брат Хорст исчез в сталинских лагерях. Третий брат Лев, отсидевший в тюрьме, дожил до 1963 года в Климовске, под

Москвой. Не было никаких сомнений в том, что именно худенький Бодо продолжит большое научное начинание своего отца.

В 25 лет он защищает кандидатскую диссертацию. В начале тридцатых годов он принимает участие в экспедиции в Сибирь английского биолога А. Мозгли для изучения пресноводных моллюсков. Новый вид моллюска, открытый во время экспедиции, Мозгли галантно называет в честь своего молодого талантливого русского коллеги «планорбис иоганзени». В последующие годы Бодо Иоганзен самостоятельно исследует 42 вида моллюсков, открыв 2 новых вида.

Во время войны, в 1944 году, отец в 33 года защищает докторскую диссертацию и становится самым молодым профессором университета. Его бывшие студенты вспоминают о том, как зажигательно и интересно читал он свои лекции. В аудитории не было равнодушных лиц, в процессе лекции нужно было думать. Примечательно было и то, что даже во время войны, в неотопливаемом университете, зимой Бодо Иоганзен был элегантно одет в темный костюм с белой рубашкой и галстуком, в то время как студенты в аудитории были одеты в пальто, шапки и рукавицы.

Моему отцу повезло, что Томск как отдаленный сибирский город не подчинялся всем сталинским законам Российской империи относительно лиц немецкой национальности. Ведь по закону военного времени всем российским немцам надлежало быть не на фронте, а в трудармии, то есть на тяжелейших работах: лесозаготовках, шахтах, откуда редко кто возвращался, где люди ели крыс и мёрли, как мухи. Отец был также призван, его уже забрили и готовили к отправке в эшелоне. В последний момент случилось чудо — сотрудница университета Т.В. Плакидина через каких-то вышестоящих знакомых помогла отцу избежать этой тяжелой участи. Так отец продолжал работать в университете, хотя в 1942 году он был снят с должности заведующего кафедрой и декана биологического факультета университета, но уже в 1944 году, после защиты докторской диссертации, он был снова восстановлен на этих должностях.

Судьба хранила отца. Его же сестру Дагмару во время войны, как и всех других немцев, сразу отчислили из студентов пединститута. Папе повезло. Он прожил потрясающе красивую жизнь, долгую, яркую, насыщенную любимой работой, путешествиями, творчеством, любовью, жизнь удивительно порядочного человека. Он прожил 85 лет и до последнего дня ежедневно ходил в университет, вне зависимости от того, были у него лекции или нет. 15 января 1996 года, за неделю до готовящегося празднования своего 85-летнего юбилея, папа получил инсульт по дороге в университет, от которого он уже не оправился.

Наверное, большую часть своей жизни папа провел за письменным столом за своим любимым занятием – написанием статей и книг. Для этого был разработан и соответствующий распорядок дня и ночи. Придя с работы, он недолго спал, часов до 9 вечера, затем ужинал, а с 10–11 часов до 4 часов ночи начиналось его «золотое время» творчества, когда не мешал никто, ни дети, ни внуки, ни телевизор, ни телефонные звонки, ни визитеры. Он опубликовал 40 монографий, учебников и брошюр, около 800 научных и научно-популярных статей. Только перечень печатных работ отца занимает 66 страниц! Огромную известность в стране приоб-

рела его книга «Природа Томской области», много раз переиздаваемая и не утратившая своей актуальности и через 45 лет после написания. По крайней мере, его внук еще готовился по ней к урокам биологии.

Отец ввел в обучение новый предмет – экологию, и первым в стране стал преподавать ее как науку, а его учебник «Основы экологии» в течение 20 лет был единственным учебником по экологии в СССР, по которому занимались вузы страны.

Излюбленным весенне-летним времяпрепровождением, сочетающим научную работу, спорт, активный отдых, были для отца многочисленные экспедиции. Всего их было совершено более 40, в различные районы Западной Сибири, на Алтай, Байкал, в Нарым, на Чулым, Каргат, Новосибирское водохранилище, на озеро Чаны, Телецкое озеро, Катунь, Обь, Иртыш и многие другие.

Все, что касалось природы, безмерно влекло отца, и все он делал чрезвычайно талантливо. Если фотографировал, то оставлял нам прекрасные альбомы, а после поездки по Европе его фотографии были удостоены отдельной выставки. Вокруг собственного дома отец разбил большой сад, где росли яблони и ранетки, кедры и серебристые ели, вишня, черемуха, черная смородина, рябина и черноплодная рябина; цвели розы, ирисы, тюльпаны, люпины, георгины, гладиолусы. Для детей были разбиты также маленькие грядки, где мы выращивали горох, бобы, морковь, редиску, лук. Это был настоящий оазис на бывшем пустыре! Сам отец ежедневно работал в нем, как садовник.

Особый азарт отца вызывали поездки за грибами. Здесь он был специалист! В экспедициях отец охотился и рыбачил. Увлекался лыжами и велосипедным спортом. К любимым занятиям в свободное время в экспедициях относилось также художественное вырезание тростей, которых он изготовил более 30 штук из разных пород деревьев. Некоторые тросточки носили свои названия – «Поль Робсон», «Лиса» и т.д. Это была целая коллекция, которая всегда удивляла посетителей. Полученную в наследство от своего отца ценную коллекцию серебряных монет и банкнот отец бережно хранил и пополнял до конца своих дней. Пытался собирать также марки. Увлечений было много, времени катастрофически не хватало. Но все, что делал отец, рано или поздно всегда находило успех и признание. Занимая высокие и очень высокие должности, начиная от заведующего кафедрой, декана факультета и кончая ректором педагогического института, отец всегда оставался чрезвычайно скромным человеком. Никогда не имел собственного автомобиля, дачи, что всегда являлось и является неотъемлемым атрибутом подобных должностных лиц.

Женат отец был дважды. Первая жена – Валентина Круглова, с которой он прожил около 10 лет, была биологом и стала впоследствии доктором наук. Детей у них не было.

Наша мама (моя и моей сестры Ольги) – Валентина Васильевна Кафанова – стала второй женой отца. В 1944 году она была зачислена ассистентом на кафедру ихтиологии, которой заведовал отец. На данный момент отец был еще женат, мама была также замужем. Оба брака были несчастливы и шли к распаду. Можно считать неожиданным совпадением, что их ранние браки оба рухнули к 1947 году, и в этом году образовалась

их новая семья – семья ихтиологов, соратников, единомышленников, семья, которая очень счастливо прожила 49 лет и в которой одинаково уважались традиционно немецкие черты и русский уклад. Исчез из общения немецкий язык, которого не знала мама и забыл папа. Но что-то передалось нам с сестрой в генах. Немецкий язык стал неотъемлемой частью моей жизни.

Закончив специализированную школу № 6 с преподаванием ряда предметов на немецком языке, я не сомневалась, что и дальнейшую жизнь свяжу с ним. С отличием окончила факультет иностранных языков Томского пединститута, а затем аспирантуру профессора Г.Г. Едига по германистике (диалектологии). Темой моей диссертации стал баварский диалект Алтая. Как и у всех российских немцев (хотя по паспорту я всегда была записана русской), в 70–80 годы у меня тоже начались запреты на стажировки в Германии, конференции в Австрии; началась переделка диссертации в связи с тем, что речь в ней шла о компактных поселениях российских немцев, не утративших еще в 70-е годы свой язык и культуру.

Вся жизнь моей семьи проходила на стыке двух культур – русской и немецкой. Я не знаю, чего во мне больше, русского или немецкого. В 90-е годы рухнули, наконец, многие барьеры. Жизнь совершенно изменилась. Я выиграла по конкурсу три года подряд стажировки за границей, две в Германии, одну в Австрии. Я встретила со всеми родственниками за границей, в том числе и с тетей Маргаритой, первой рискнувшей написать нам в 60-е годы. Она прожила 100 лет. Моя кузина Барбара из Гамбурга нашла после долгих стараний могилы тех предков в Эстонии, которые так тщетно искал наш отец. Томск стал открытым городом для иностранцев, а в 2006 в нем даже был проведен саммит между Меркель и Путиным. 3 года назад я вышла замуж за журналиста Хорста Рюбке из Германии, с которым у меня нет никаких барьеров: ни языковых, ни социальных, ни культурных, ни интеллектуальных. Теперь у нас два дома – в Германии и в России. Для меня эти две страны, Германия и Россия, эти две культуры слились воедино. Я сплав двух культур, двух национальностей в семье, где одинаково уважались обе. Непросто было мне нести мою фамилию по жизни. Но я горжусь тем, что сохранила ее, выходя замуж, и передала сыну не только известную фамилию нашего рода, но и осознание того, что все мы достойно пронесли ее в разные эпохи. Я думаю, что и я достойно прошла сквозь обвинения разных лет в «связях и переписке с заграничной», «желании остаться за рубежом во время стажировки», «преклонении перед Западом» и даже, как ни странно, в 2006 году в «частом приглашении немцев на кафедру немецкого языка ТГАСУ», где я работаю свыше 20 лет.

Моя фамилия придает мне силы, чтобы достойно выдержать все испытания, ведь совсем не в духе Иоганzenов унижаться, преклоняться перед любым начальством, получать нечестным путем должности и звания, подличать во имя карьерных целей, отказываться от своих взглядов. Я горжусь тем, что моя русско-немецкая семья, о которой уже написано немало печатных статей и снят фильм, так много сделала для Томска, Сибири и России в целом и думаю, несомненно, наши потомки в недалеком будущем оставят еще какой-то свой след.

Владимир БОЙКО

Ссылные декабристы в Томске и Нарыме

Движение декабристов ещё долго будет привлекать внимание историков и тех, кто историей интересуется. Литература об этом движении обширна и многообразна. Однако изучение той эпохи и её деятелей продолжается. Люди и их жизнь во всем её многообразии все чаще становятся предметом современных исторических исследований, что делает их, с одной стороны, интереснее и доступнее для восприятия, а, с другой стороны, – сложнее в воспроизведении житейских мелочей и подробностей, которые получили общее название «структура повседневности». Именно в этом русле и предполагается рассказать о таких разных деятелях декабризма, как Г.С. Батеньков и П.Ф. Дунцов-Выгодский.

Широко известен факт рождения Г.С. Батенькова в Сибири, в её древней столице – Тобольске в 1793 году. Но не все знают о том, что он был двадцатым ребенком в семье 60-летнего обер-офицера, воспитывался в Тобольском военно-сиротском заведении, а также в народном училище и гимназии. С 1810 г. Батеньков находился в Петербурге и воспитывался в Дворянском полку при втором кадетском корпусе, откуда в мае 1812-го выпущен прапорщиком артиллерии. Записки Гавриила Степановича, его письма и воспоминания частью опубликованы и дают возможность воспроизвести атмосферу его детства, показать начало формирования его мировоззрения. Вот что он пишет о своем отце: «Отец мой был святой человек, в крайней простоте сердца искренне, безусловно привязанный к церкви, добрее его сердцем я никого не встречал в жизни. Случалось даже, что когда он стоит на утренней молитве, мы с сестрою заберёмся под полы его длинного платья и начнём ловить друг друга. Он нас не унимал и, как бы не примечая, продолжал своё дело».

В записках Батенькова – детские впечатления от прогулок вокруг Тобольска, любовь к своей няньке, которая его лелеяла и потакала невинным слабостям. От одной из них, сосания рожка (соски), отучил его дядя, служивший, кстати, в Российско-Американской компании, который выбросил этот рожок за окно и тем самым пробудил в ребенке память. Именно с этого момента, по признанию автора, он стал помнить себя и окружающих его близких людей.

О своем образовании Батеньков достаточно откровенно пишет в письмах на имя Николая I и членов Следственного комитета. По своей форме это большей частью доверительные письма, где автор убеждает

следователей сначала в своей непричастности к делу «14 декабря», о своём кратком «безумном ослеплении», а затем осторожно, чтобы никому не навредить, даёт признательные показания. Вот как пишет он о начале своего вольномыслия: «По вступлению в кадетский корпус я сдружился с Раевским, с ним мы проводили целые вечера в патриотических мечтаниях... С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке и осуждать поступки с нами цесаревича. В Сибири, моей родине, сие не бывает». Как было известно всем причастным к движению людям и их следователям, В.Ф. Раевский, названный впоследствии первым декабристом, с 1822 г. находился в Тираспольской крепости, и сильно навредить ему признание в юношеском вольномыслии не могло.

Здесь же Батеньков говорит о своих увлечениях античной историей, которая была одним из общих увлечений многих декабристов, склонности к точным дисциплинам – в 15 лет «почти самоуком постиг дифференциальное исчисление». Он и себе даёт характеристику, исходя из любви к точным наукам: «Начав свое образование с наук точных, я никогда не был мечтателем. Всякий кто знает меня, знает человеком трудолюбивым, прямодушным, чуждым необузданных страстей, твёрдым в поведении, но всегда послушным и точным в исполнении законных велений (краснея, я сие говорю в похвалу о себе и единственно по внушению и необходимости)».

Что касается военных действий, то эта сторона в письмах Батенькова отражена меньше других сторон его деятельности. В одном из писем он отмечает, что военной славы не искал, а всегда хотел быть ученым или политиком.

Более подробно и обстоятельно Г.С. Батеньков должен был говорить о своём вступлении в тайное общество. Если образ мыслей его начал меняться в кадетском корпусе, то стремление к конкретным действиям проявилось, вероятно, в масонских ложах и на службе. В 1816 г. он сдал экзамен в институте корпуса инженеров путей сообщения и перешёл туда на службу, получив утверждение в звании поручика. С апреля 1817 г. Батеньков занимался благоустройством г. Томска и одновременно учредил здесь ложу «Восточного светила». Вот как он об этом писал своим следователям: «Жил довольно долго в Томске, где из семи или восьми человек составили мы правильную масонскую ложу, и истинно масонскую, ибо, кроме добра ни о чем не помышляли». В Томске Батеньков собирался жениться, но начались, как он говорит, гонения И.Б. Пестеля, сибирского генерал-губернатора, и он выехал из Сибири. Однако в пути состоялась встреча со Сперанским, которая их быстро сблизила.

М.М. Сперанский обратил Батенькова в своего деятельного помощника. Первое испытание, которое получил будущий декабрист от несостоявшегося реформатора, состояло в проверке просьбы из Омской крепости о постройке моста. Чиновники требовали 100 тыс. руб., но Батеньков, «обозрев на месте, нашёл, что ежели употребить на поправку менее 1 тысячи, то мост прослужит ещё несколько лет». Отказ от денег, казалось, верно идущих в руки, отказ от азартных игр («я в карты не играю» – гордо заявил на следствии декабрист, и ему можно в этом верить), пренебрежение собственной карьерой – всё это соответствовало не-

писаному кодексу чести декабристов. Ю.М. Лотман в своей работе «Декабрист в повседневной жизни» ввел эти новые, более тонкие мотивы в освещение облика дворянского революционера.

Служба у М.М. Сперанского была трудна и многообразна, но хорошо оплачивалась: около 6 тыс. руб. годового жалованья и 10 тыс. руб. премиальных по окончании срока договора. Возникшая близость между начальником и подчинённым привела к попытке привлечения Сперанского в ряды заговорщиков. От видного декабриста барона В.И. Штейнгеля были об этом получены следующие сведения: «27 ноября ввечеру г. Батеньков приехал к директору Российско-Американской компании г. Прокофьеву и, застав меня у него, после нескольких слов в рассеянии произнесённых, сказал мне: «Пойдёмте в вашу комнату хотя трубку выкурить». Когда мы пришли ко мне в мезонин, то сели вместе на мою кровать, и тогда с видом крайнего сердечного огорчения он начал мне говорить: «Я поссорился со своим стариком и наговорил ему бог знает что. Как можно упустить такой день ...». Напрашивается вывод, что детали признания барона Штейнгеля говорят о правдивости его слов и указывают на Батенькова как на деятельного и энергичного члена Северного общества, куда он был принят всего за месяц до восстания.

Интересны детали вхождения Батенькова в тайное общество. В нескольких показаниях об этом говорится, и они сводятся к разговору, который состоялся между ним и А.А. Бестужевым. Когда Бестужев намекнул, что «есть 20–30 удалых голов, которые ради перемены на всё готовы», то Батеньков ответил: «Я почёл бы себя недостойным имени русского, если бы отстал от них». Вскоре Рылеев, придя к А. Бестужеву, вскричал: «Как ты был несправедлив, сомневаясь в Батенькове! Он наш!».

Истоки быстрого перехода Батенькова в лагерь радикально настроенной молодёжи видятся в атмосфере, которая окружила его в Петербурге после возвращения из Сибири. Если в Сибири, в частности в Томске, он наблюдал полный штиль, говоря морским языком, или период консервативного застоя, то в Петербурге все бурлило. Батеньков писал, что во время его первого пребывания в Томске большая часть жителей была погружена в староверство, все жили замкнуто в своих семействах с крытыми дворами и запертыми воротами. А вот в 1821 г. в Петербурге, по его словам, «общество уже было не то, каким я оставил его прежде за пять лет. Разговоры про правительство, негодование на оное, остроты, сарказмы встречались беспрестанно, коль скоро несколько молодых людей были вместе... Я летал с места на место, пустился в литературу, в политические толки и, рассеявшись в суетности, вовсе почти расстался с математикой».

В 1823 г. Батеньков не смог отказаться от предложения А.А. Аракчеева перейти к нему на службу в ведомство военных поселений, где он стал членом Совета и ему повысили годовой оклад до 10 тыс. руб. Большую часть лета 1825 г. Батеньков провёл в Грузино, имении Аракчеева в Новгородской губернии, «занимаясь постройками, устройством военносиротской части и делами». Но вскоре в его жизни произошли серьёзные изменения, связанные с убийством в имении Аракчеева его любовницы. Всесильный временщик отошёл от дел, и среди декабристов утвердилось

мнение, что «решительный поступок одной девки делает решительные перемены в судьбе 50 миллионов россиян». Того же мнения был и Батеньков, который, судя по анонимному доносу, не разделял показной скорби окружения Аракчеева, а «изъяснялся об нем в разных шутках, в разных насмешках и всегда в весёлом духе». О самом же Аракчееве он говорил, «что если случай расстроил графское здоровье, то вместо графа Алексея Андреевича найдётся другой граф Сидор Карпович, и при нём может быть нам будет лучше». Судя по отрывочным сведениям, чувство юмора не изменяло Батенькову в самых разных ситуациях. Сидя в каземате, он, отвечая на вопросные листы, часто просто играл роль дурачка, прикидываясь то не понимающим сути вопросов, то выдавая себя за помещанного. Такая линия поведения также входила в кодекс декабристов, и некоторые из них играли шутовскую роль на допросах. Например, князь С.Г. Волконский следовал эталону светского повесы и гуляки-гусара и на допросах у императора, и в ответах на вопросы следственной комиссии, которые он делал письменно с огромным количеством орфографических ошибок и крайне запутанно стилистически.

Следственный комитет хотел представить дело так, что после увольнения Батенькова из ведомства А.А. Аракчеева он остался без дела и, соответственно, без большого жалования и это подтолкнуло его вступить в тайное общество. Напротив, это увольнение заставило Батенькова искать другое место службы, и оно вскоре было найдено. Батеньков должен был стать «управляющим колоний Американской компании на Восточном океане», и переговоры были почти закончены: «Я обязывался служить 5 лет за 40 тыс. руб. ежегодно, полагая половину издерживать, а другую отсылать в иностранный банк, чтобы водвориться где-нибудь в Южной Европе навсегда». Однако частое посещение конторы Российско-Американской компании в Петербурге, в которой служил его дядя, привело Батенькова к знакомству с К.Ф. Рылевым, А.А. Бестужевым, И.И. Пуциным, В.И. Штейнгелем и другими членами Северного общества. Все свои беды Батеньков связывал с директором компании Прокофьевым, с которым он встречался в Иркутске, Москве и Петербурге. В доме у него Батеньков бывал так часто, что «как бы принадлежал к его семейству, нередко по несколько дней сряду и по несколько раз в день». Вообще, надо сказать, во всех городах, где бывал Батеньков, он охотно и достаточно близко сходил с купечеством. В Петербурге, например, 12 декабря 1825 г., как пишет Батеньков, «я обедал и провёл вечер у купца Кувшинникова, условились на завтра обедать или у купца Сапожникова, или у градского головы, я не знаю у кого именно, и заехал к коммерции советнику Прокофьеву, который должен был сие знать ...».

К числу проектов Г. С. Батенькова относится и желание жениться на купчихе, самому стать купцом, дойти до звания градского головы и попробовать возвысить её на степень лорд-мэра. Другой проект был, пожалуй, самым смелым и честолюбивым. Он был упомянут в знаменитом «Алфавите декабристов» и заключался в том, чтобы «быть членом Временного правления и в виде регентства управлять государством именем его величества Александра Николаевича». Близость к видным государственным деятелям той эпохи – М.М. Сперанскому, А.П. Ермолову,

А.А. Аракчееву, высокий авторитет в масонских ложах, влиятельная роль в буржуазных кругах, лидерские позиции среди декабристов – всё это, вполне возможно, стало главной причиной заточения Батенькова в Петропавловской крепости на долгие 20 лет. Расстройство рассудка и сибирские корни декабриста были только поводом, чтобы не выполнить судебный приговор, относивший Батенькова к одному из высших разрядов государственных преступников с отбыванием многолетней каторги с последующим вечным поселением в Сибири.

Не лишена привлекательности и достаточно хорошо известная легенда о том, что когда Николай Павлович узнал о неучастии Батенькова в восстании, то предполагал выпустить его из крепости, наградить денежной премией и произвести в следующий чин, но тот отказался от милостей императора, справедливо полагая, что товарищи сочтут это наградой за предательство. Он написал письмо государю, где указывал, что хотя и не участвовал в восстании, но сочувствует людям, которые в нём участвовали и если его выпустят, то он останется при своём прежнем мнении. Это сочли безумием, посылали к нему придворного доктора Арендта, но тот нашел умственное состояние арестанта вполне нормальным, и в результате расплата была жестокой – 20 лет строго одиночного заключения в каземате Петропавловской крепости, где не было дневного света, и только один раз в году на Пасху к нему приходил комендант похристосоваться. В таких условиях представления о времени и пространстве приобретают особое содержание, что нашло своё отражение в философской лирике декабриста.

Долгие годы, проведенные Батеньковым в каземате, не притупили у него интерес к людям, которым он в своих письмах даёт точные и глубокие характеристики. Обратим внимание на историю взаимоотношений ссыльного декабриста с предпринимательскими кругами Томска в 40–50-е гг. XIX в. 26 июля 1847 г. Батеньков пишет своей давней хорошей знакомой Е.П. Елагиной: «Лето я пережил в саду, в беседке. Это среди города при доме Философа Александровича Горохова, почти с детства со мною дружного и владеющего в Енисейской губернии важными золотыми приисками. У него жив ещё отец, 80-летний старец, также лет 30 мне известный, и теперь мой товарищ, по отсутствию хозяев». Вполне дружеские отношения установились у Батенькова и с другим крупнейшим сибирским золотопромышленником – И.Д. Асташевым, в доме у которого он часто бывал, пользовался его обширной библиотекой и делал хозяину переводы из иностранных книг, газет и журналов. Многие просвещённые чиновники также вслед за губернатором были к декабристу вполне расположены: принимали его в своих домах и отдавали визиты ему, доверяли воспитание своих дочерей, делали заказы на переводы и инженерные проекты. Неоценима помощь в устройстве Батенькова в Томске местного исправника Лучшева и его семейства. Письма к Батенькову в Томск приходили на адрес томского губернатора П.П. Амосова, лично ему знакомого, и трудно даже вообразить, что здесь они перлюстрировались.

Г.С. Батеньков близко к сердцу принимал беды и огорчения своих томских знакомых. Накануне своего разорения Ф.А. Горохов пережил семейное горе. Вот как об этом Батеньков сообщает своему другу И.И. Пущину: «Наш местный некрополь нельзя сказать, чтоб был в полном за-

стое. В начале февраля скончалась всем известная госпожа Горохова... Потеря чувствительная для всего города, чувствительная и для меня по закоренелой семейной приязни: прошедшее лето я у неё и прожил в садовой беседке. Это женщина 33 лет, мать 9 детей, дочь, сестра, обладательница ежегодных 50 пудов золота и, что всего важнее, всегда готовая на доброе дело». Через несколько месяцев Батеньков похоронил и отца Ф.А. Горохова Александра Михайловича, который в 1819 г. был советником гражданского и уголовного суда в Томске и, конечно, был хорошо знаком с Батеньковым, проходившим там службу. «Он дал добрый пример христианскою кончиною, сохранив до конца умные силы. Я прожил с ним прошедшее лето и любил его слушать, потому что он едва ли не всё перечитал», – писал Батеньков в письме к Пущину. В ноябре 1853 г. Батеньков пишет: «Большая потеря для всего города во внезапной кончине Александры Павловны Асташевой, женщины образованной, в цвете лет, и готовой на всякое добро».

Приведенный здесь материал позволяет отнести Г.С. Батенькова к умеренным реформаторам либерального толка. На склоне лет своё кредо он сформулировал так: «Учреждения наши достаточны и разумны. Они нуждаются только в нас, в нашей любви и энергии, в наших силах правды и честности и даже в материальных средствах». Пребывание этого декабриста в Томске только подтверждало эти его слова и дела по нравственному совершенствованию человека в русле православия и просвещения. Такой путь был, по нашему мнению, наиболее разумным вариантом преобразований через последовательный прогресс и эволюцию, через развитие производительных сил страны и отдельных её регионов, через общий подъем экономики Сибири и ее социального устройства по примеру Северной Америки. Будь проекты Батенькова реализованы, многих катаклизмов России удалось бы, вероятно, избежать.

Томский период жизни Батенькова освещён в литературе достаточно полно. Отметим, что в народной памяти он остался как подвижник, который хотя и вел странный образ жизни, но был к людям добр и открыт, мудр и доступен. В Томске с особой силой проявился его давний идеализм. Надежды на подъём экономики Сибири за счёт «золотой горячки» не оправдали себя, поэтому решающее значение Батеньков придавал образованию, успехам разума, передовым идеям. В то же время он был чрезвычайно набожен, посещал все церковные службы, почти наизусть знал Библию. Не имея своей семьи, он очень любил детей и много с ними занимался. Бывшие его ученицы, преимущественно купеческие дочери, уже выйдя замуж, часто бывали у него в гостях, относились к нему с огромным уважением. В Томске Батеньков вёл здоровый образ жизни, приобрёл страсть к купанию до заморозков, оставался всю жизнь строгим вегетарианцем, не пил водки. Ссылный декабрист был высок, хорошо сложен, прямой нос и волевой подбородок придавали ему удивительное сходство с Наполеоном.

Хотя Батеньков и был принят в высшее томское общество, но щепетильно относился к своей материальной независимости и вел строгие расчёты с богатейшим золотопромышленником Гороховым, когда тот был в зените своей славы и богатства.

Остановимся на характеристике ещё одного декабриста, ссылка которого в город Нарым не имела такого общественного резонанса, как прибытие в Томск Г. С. Батенькова. Нашей задачей станет не только напоминание о малоизвестном и малозаметном декабристе П.Ф. Дунцов-Выгодковском, но и характеристика деятеля, во многом себя противопоставлявшего умеренному крылу декабристов, к которым принадлежал Батеньков. В одном из своих писем в октябре 1856 г. Батеньков писал: «Удивились мы, почему не попал в амнистию находящийся в Нарыме Выгодковский, не забыт ли он как-нибудь, а всем известно, что человек мирный и кроткий. Слышал я об нём, живя в Томске, но лично совсем незнаком...». Вся последующая история изучения декабризма полна недомолвок и даже прямых ошибок в отношении этого деятеля. Попытаемся на основе эпистолярных источников и имеющейся литературы воспроизвести основные этапы формирования его личности.

Павел Фомич Дунцов родился в 1802 г. в Подольской губернии, в семье зажиточного крестьянина Тимофея Дунцова, который имел 5 лошадей, 2 коровы, 16 ульев, 10 овец. Для Сибири такие размеры хозяйства не представляли чего-то необычного, были вполне заурядны по объёму, но для пограничной зоны между Россией и Польшей, в небогатой Белоруссии это было вполне крепкое хозяйство. В связи с этим в детстве мальчик не голодал и не нанимался в батраки, а получил вполне приличное образование сначала у местного дьячка, а затем в иезуитском духовном училище. В таком училище давали неплохое гуманитарное образование, которое включало в себя знание латыни, польского и французского языков, схоластику и другие дисциплины. В этой школе мальчик попадает под влияние иезуитов (тринитариев – поклонников троицы) и по выходе из него получает фамилию Выгодковский вместо Дунцова и отчество Фомич вместо Тимофеевича. Не без помощи польских ксендзов выправляются новые документы, и уже как польский дворянин Выгодковский крестьянский сын Дунцов является в канцелярию волынского губернатора, чтобы получить какую-либо должность. Бюрократический аппарат на окраинах империи всегда испытывал нужду в грамотных людях, которые за весьма «миниатюрное жалованье» были готовы на любую работу. Юный канцелярист Выгодковский выполняет задания по описанию фабрик и заводов губернии, по сбору недоимок и рекрутскому набору. В перспективе было получение первого классного чина и дальнейшее продвижение по служебной лестнице.

Отметим для себя, что из православия Дунцов легко перешел в католичество, из русских крестьян переместился в польские дворяне, удалился от привычных крестьянских занятий и занялся чиновничьей службой. Как это ни странно, следствие на самозванство Дунцова-Выгодковского не обратило особого внимания и не привлекло его к ответственности за присвоение дворянского звания, герба, незаконное устройство на службу и другие преступления против господствовавшей тогда строгой сословности. Главная его вина – принадлежность к обществу соединённых славян, куда его принял в 1825 г. секретарь общества, мелкий чиновник (комиссионер 10-го класса) Илья Иванов. По его заданию он переписал «Правила» или «Катехизис» общества для старшего члена этого общества Борисова.

В следственном деле Выгодовского хранится небольшая по объёму переписка между ним и подпоручиком 8-й артиллерийской бригады П.И. Борисовым 2-м. Письма представляют собой смесь понятий и имён из римской истории (себя, судя по всему, Выгодовский называет Катонном, а Борисов подписывается Сципионом), название месяцев берётся из календаря французской революции конца XVIII в. (мессидор, термидор и т.д.), стиль – традиционный для чиновников запутанный канцелярит, который с трудом понимается. Впрочем, разговоры между адресатами шли на высокие темы. Вот образец письма Выгодовского к П.И. Борисову: «В чьём сердце помещается храм Добродетели, тот, верно, будет в нём находить подобную радость. Сего же счастья, сей дружественной любви, восхищающей в благородные и возвышенные чувства, я бы не согласился променять ни на мнимое горнее царство, ни на самый прелестями наполненный рай Магомета».

Витиеватость стиля сменяется предельной ясностью при ответах на вопросы Следственного комитета: «Вольнодумческие и либеральные мысли прилипли ко мне в недавнем времени частью от чтения, а частью и при поступлении мною в тайное общество от участников оного...». Уже при аресте в Житомире Выгодовский проявил раскаяние и назвал всех лиц, причастных к тайному обществу, которых знал и мог подозревать. Некоторые ошибки, сделанные при опросе, несущественны. Например, названный им Тютчев был капитаном, а не поручиком, что объясняется естественной растерянностью молодого человека и тем, что всё-таки он был гражданским чиновником, а не военным. П.Ф. Выгодовский и Г.С. Батеньков на сходные ситуации во время допросов реагировали по-разному: один пытался доказать свое полное раскаяние и рассказать об обществе всю подноготную, в то время как другой (Батеньков) противопоставлял следствию своё временное помрачение рассудка, незнание обстоятельств дела, роковое стечение обстоятельств и т. д.

Некоторая идеализация поведения Выгодовского на следствии в работах М. Богдановой и Л. Матющенко объясняется тем, что они написаны до выхода из печати в 1975 г. 13-го тома материалов «Восстание декабристов», из которых явствует, что канцелярист Выгодовский полностью раскаивался в совершённых им действиях. На первом же допросе он показал, что когда Иванов сообщил ему о том, что в Южное общество он не причислен, а из Славянского вовсе исключен, то весьма тому обрадовался. В дальнейшем Выгодовский заявил, что по национальности является поляком и возлагает надежду на возрождение Польши. Однако связей с польскими революционерами следствие не обнаружило, так как поляки сами не доверяли мелкому канцелярскому служителю. Роль Выгодовского в тайных обществах была признана скромной, раскаяние искренним, и он был отнесен к 7 разряду государственных преступников (один год каторги и вечное поселение в Сибири).

П.Ф. Выгодовский был отправлен в Читу в феврале 1827 г., а так как своих денег у него не было, то из казны выдали 23 руб. 60 коп. на тёплые вещи и 30 руб. на дорожные расходы. 15 апреля того же года он прибыл в Читу, где год пробыл на каторге в окружении своих товарищей из Общества соединённых славян: братьев Борисовых, Горбачевского,

Иванова, Тютчева и других. По мнению известных мемуаристов (братья Бестужевы, И.Д. Якушкин, Н.В. Басаргин) эта группа выделялась демократическими убеждениями, атеизмом, радикальными настроениями, мелкими чинами в прошлом и получила название «Вологда». В отличие от неё другая группа была преимущественно аристократической, в прошлом многие из каторжников имели высокие чины, им щедро помогали родственники, к ним приезжали жёны. Многие из членов этой группы были верующими или мистически настроенными, что дало им общее название «Москва». На каторге декабристам было отчасти легче, так как там они создали атмосферу взаимопомощи, поддерживали доступными средствами слабых духом, помогали больным, бедным и обездоленным, создали свою систему взаимного образования и обмена мнениями.

В июле 1828 г. П.Ф. Выгодский прибыл в город Нарым, где проживало тогда около 500 жителей и в котором ему пришлось провести долгих 26 лет. Сначала его товарищем по ссылке был соратник по Обществу соединённых славян Н.О. Мозгалевский, молодой подпоручик Саратовского пехотного полка, который был причислен к 8 разряду государственных преступников, лишен чинов и дворянства и выслан на 20 лет на поселение. В Нарыме он быстро освоился: сошелся с местными жителями и благодаря содействию своего нового приятеля лекаря Виноградова нашёл себе невесту – казачку Евдокию Ларионовну Агееву. В семье у них было 8 детей, небольшое хозяйство, но, как написано в официальном документе, «претерпевал тяжёлую нужду». В связи с этим Мозгалевский стал просить перевести его в Енисейскую губернию, и в 1836 г. переселился в с. Курагинское, потом в с. Теснинское и, наконец, с 1839 г. жил в Минусинске, где и умер в 1844 г. Понятно, что обременённому семьёй и хозяйственными заботами, ведшему, по докладам администрации, «жизнь совершенно крестьянскую», Н.О. Мозгалевскому было не всегда возможно общаться с Выгодским. На короткое время тот мог скрасить свою потребность в общении со ссыльными поляками, но их вскоре перевели в другое место.

Поэтому П.Ф. Выгодский был предоставлен в Нарыме большей частью самому себе и нашел себе занятие в чтении, немного портняжничал, по просьбе местных жителей составлял жалобы и прошения, хлопотал об улучшении собственного положения. По его словам, он постоянно нуждался в средствах к существованию, хотя ему, как и всем ссыльным, предоставлялась определённая сумма денег взамен солдатского пайка (4 руб. 35 3/4 коп. серебром в месяц) и крестьянская одежда. Но, получая эту одежду, Выгодский, по сведениям администрации, носил «соответствующую прежнему его званию одежду – сюртук, фуражку или картуз, так как крестьянская одежда ему не совсем удобна». С 1835 г. он стал получать пособие в 200 руб. ежегодно и право на 15 десятин пахотной земли. Но по докладу Выгодского ему заменили эту землю сенокосом. В Нарыме был куплен небольшой деревянный домик, где в продолжение всей ссылки бобылем (старым холостяком) и проживал этот один из самых скромных и незаметных декабристов.

Тем не менее, в нарымской ссылке произошли события, которые сделали Выгодского известным за пределами округа. На протяжении

всей ссылки он вёл оживлённую переписку со многими адресатами и из писем ясно, что он был не в ладах с местной элитой. По его словам вышло, что богатые местные «живодёры» разоряют незащищённых баб и бессловесных мужиков. В Тогурском округе «существуют четыре главные язвы: заседатели, купцы, вахтёры (приказчики хлебных магазинов – В.Б.) и кабаки. Выгодковский сравнивает местных кулаков со «слепнями и паутами, сосущими кровь у бедняков», главными из которых является династия Родюковых. Особенно он ополчился против заседателя Борейши, называя его «грабителем и насильвателем», который и канцелярию свою составил «по своему образу и подобию из двух ошельмованных ворюшек». В губернском городе Томске, по мнению Выгодковского, действовали также «чины-хапуги, чернильные гнусы, воры и бездельники». Чиновники там «на такой поднялись промысел и спекуляцию, на какой варнаки (разбойники – В. Б.) не решаются. Эти воруют и разбойничают открыто, тогда как чиновники прячутся за буквы закона».

Выгодковский отправил в родную Подольскую губернию некоему Петру Пахутину письмо с 4 рисунками атеистического содержания – «три лика святых и одно грешника», подразумевая под последним себя. Это были своеобразные карикатуры на православие, сопровождавшиеся соответствующим текстом. Автор пытается с материалистических позиций пояснить природные явления и делает это наивно, неграмотно и грубо. Социальные явления он объясняет таким же образом: «Нищие без богатых могут существовать, а богатые без нищих все бы передохли». Такая позиция вызвала в 1848 г. интерес у жандармов, и томский губернатор сообщает 3-му отделению Императорской канцелярии, что Выгодковскому указано, чтобы он не «осмеливался входить ни в какие рассуждения о предметах, до него не относящихся». В том же году он высылал из Нарыма родным 60 руб. серебром, образ и письмо, в котором высказывал сыновнее уважение матери, благословение младшему брату Пантелеймону в виде иконы и советы по устройству их жизни.

Выгодковский в течение ряда лет получал двойное денежное содержание (200 руб. в год с 1835 г. и по 50 коп. в день с 1828 г.). Когда в 1851 г. Томская губернская казенная палата стала задерживать, а потом и по формальным причинам прекратила выдачу ежегодного казённого содержания, то он стал жаловаться в различные инстанции, а затем вступил в прямой конфликт с заседателем Борейшей, в результате в ноябре 1854 г. оказался в Томском тюремном замке. При обыске у него было обнаружено 440 руб. денег, 3588 листов рукописей, личная библиотека и другие вещи. В 1854 г. в Нарыме было допрошено около 50 жителей, проведены обыски, но ничего предосудительного найдено и услышано не было. Главная улика на Выгодковского состояла в черновиках прошений, составленных по просьбе местных жителей. По распоряжению губернатора Выгодковский был заключен в Томский тюремный замок «за ослушание и дерзость против местного начальства при производстве следствия об употреблении им в официальной жалобе оскорбительных насчёт некоторых должностных лиц выражений». Рукописи у него были наполнены «самыми дерзкими и сумасбродными идеями о правительстве и общественных учреждениях, с превратным толкованием некоторых мест Св. писания и

даже основных истин христианской религии». Был приговорён Томским окружным судом к наказанию плетьюми, от которого освобожден по манифесту о восшествии на престол Александра II. Летом 1855 г. его отправили в Восточную Сибирь «с соблюдением над ним строгого наблюдения с подпискою ни под каким видом не заниматься сочинением прошений». Деньги (440 руб. с полтиной) ему вернули, а по пособию произвели перерасчёт, и, додав 28 руб. 74 коп., выплаты прекратили.

По сведениям М.М. Богдановой, работавшей в центральных и местных архивах, публицистика Выгодовского, к сожалению, частью была уничтожена, а та, которая сохранилась, полна богохульств и оскорблений «особы государя», резких обличений правительства и местной власти. Вся его деятельность в Нарыме, которая давала ему основной доход, заключалась в написании «прошений и ябед», и лишь на поселении в Вилюйске Выгодовский стал заниматься обучением детей грамоте. Умер он в Иркутске 12 декабря 1881 к. в приюте при польском костёле.

Итак, в Сибири произошло окончательное формирование личности декабриста Выгодовского. После своего раскаяния на следствии, когда он был рад отказаться от своих убеждений, чистосердечно признаться в противозаконных умыслах и огласить весь список причастных к тайному обществу людей, был период, когда он надеялся улучшить своё положение в ссылке через прошение императору. Сохранилось подлинное письмо Выгодовского царю на французском языке, где он просит избавить его от голодной смерти на поселении. В дальнейшем, как мы уже убедились, голос Выгодовского-публициста крепнет, и он уже разговаривает с властями на языке А.Н. Радищева, его рукописи пестрят антицаристскими, антидворянскими и атеистическими высказываниями. Врагом самодержавия и засилья бюрократии он становится под влиянием деспотизма местных сибирских чиновников, под воздействием нарымских крестьян и ссыльнопоселенцев, обращавшихся к нему за юридической помощью.

Тем не менее, эпистолярное наследие Выгодовского в своем разоблачительном пафосе наивно и даже примитивно по содержанию и слишком экспрессивно (ругательно) по форме. В юности он был дезориентирован в вере, потерял свои крестьянские социальные корни и не упрочился в новом качестве чиновника-интеллигента. Суд, каторга и ссылка добавили ещё сумятицы в его внутренний мир, сильно повлияли на состояние его психики. Нужно откровенно признать, что некоторые письма и обращения Выгодовского к властям прямо говорят о его умопомешательстве. Слабое и фрагментарное образование, его явное стремление избегать женского пола, невыразительная внешность, болезненность и физическая слабость – всё это говорит о предрасположенности к психическим заболеваниям. В этой связи часто трудно отделить его размышления от бреда душевнобольного. Однако главной характеристикой этого революционного деятеля является неразборчивость в средствах достижения своих целей, выбор своей веры в зависимости от обстоятельств, то есть те качества, которые будут присущи следующему поколению революционеров-разночинцев, образно названному Ф.М. Достоевским «бесами».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В первом номере Вашего журнала за 2008 года напечатана статья Г. Померанца с выпадами против А. Солженицына. Хотелось бы узнать: это сделано намеренно, как отклик на 90-летие писателя? Согласны ли Вы с мнением Г. Померанца, что «нравственное содержание «русскости» Солженицына не интересует», что он – «ослепленный пророк»? Не кажется ли Вам, что это ответ Померанца на заметки о нём в книге «200 лет вместе»? Журнал Ваш новый, и мы, читатели, ещё не поняли его направления. Особенно важно мнение по национальному вопросу.

Надеемся получить ответ.

Г. А. Мошко, г. Томск.

Выслушаем же и другую сторону.

Отрывок из книги А.И. Солженицына «Двести лет вместе»

У Фили пили, да Филю ж побили...

Однако ото всех этих откровенных грубостей надо отличить бархатно мягкого самиздатского философа-эссеиста тех лет Григория Померанца. Он писал на высотах как бы выше всяких полемик – вообще о судьбах народов, вообще о судьбах интеллигенции: народа – теперь почти нигде и не осталось, разве бушмены. В самиздате 60-х годов я читал у него: «Народ – преснеющая жижица, а главные соляные копи в нас самих», в интеллигентах. – «Солидарность интеллигенции, пересекающая границы, более реальная вещь, чем солидарность интеллигенции с народом».

Это звучало очень современно и как-то по-новому мудро. Да только в чехословацком опыте 1968 именно единение интеллигенции с «преснеющей жижицей» своего несуществующего народа создало духовный оплот, давно забытый Европою: две трети миллиона советских войск не сокрушили их духа, а сдали нервы у чехословацких коммунистических вождей. (Спустя 12 лет такой же опыт повторился и в Польше.)

В своей манере, ускользающей от чёткости, когда множество параллельных рассуждений никак не отольются в строгую, ясную конструкцию, Померанц, кажется, никак же не писал при этом о

национальном, – о нет! «Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои», – и вот воспевал диаспору как таковую, диаспору – в общем виде, для кого угодно. Он брёл сквозь релятивизм, агностицизм – кажется, в высочайшей надмирности. «И один призыв к вере, к традиции, к народу анафемествует другой». – «По правилам, установленным для варшавских студентов, можно любить только одну нацию», – а «если я кровью связан с этой страной, но люблю и другие?» – сетует Померанц.

Тут – изошрённая подстановка. Конечно – и нацию, и страну можно любить далеко не только одну, и даже хоть десять. Но принадлежать, но сыном быть – можно только одной родине, как можно иметь только одну мать. Чтобы лучше передать предмет рассмотрения, уместно тут рассказать и об обмене письмами, который был у нас с четой Померанцев в 1967-м. В тот год уже разошёлся в самиздате мой роман, ещё только гонимая рукопись, «В круге первом», – и одними из первых прислали мне возражения Г.С. Померанц и его жена З.А. Миркина: что я ранил их неумелостью и неверностью касания к еврейскому вопросу; что в «Круге» я непоправимо уронил евреев – а тем самым и себя самого. – В чём же уронил? Кажется, не показал я тех жестоких евреев, которые взошли на высоты в зареве ранних советских лет. – Но в письмах Померанцев теснились оттенки, нюансы, и я упрекался в бесчувственности к еврейской боли.

Я им ответил, и они мне ответили. В этих письмах обсуждено было и право судить о целых нациях, хотя я в романе и не судил.

Померанц предложил мне тогда, – и всякому вообще писателю, и всякому выносящему любое человеческое, психологическое, социальное суждение, – вести себя и рассуждать так, как если бы никаких наций вообще не было на Земле: не только не судить о них в целом, но и в каждом человеке не замечать его национальности. «Что естественно и простительно Ивану Денисовичу (взгляд на Цезаря Марковича как на нерусского) – интеллигенту позорно, а христианину (не крещёному, а христианину) великий грех: «несть для меня ни эллина, ни иудея»».

Высокая точка зрения. Дай Бог нам всем когда-нибудь к ней подняться. Да без неё – и смысла бы не имело ничто общечеловеческое, в том числе и христианство. Но: уже убедили нас разрушительно один раз, что наций нет, и научили поскорей уничтожить свою. Что мы безумно и совершили тогда.

И ещё: рассуждать – не рассуждать, но как же рисовать конкретных людей без их нации? И ещё: если наций нет – тогда нет и языков? А никакой писатель-художник не может писать ни на каком языке, кроме национального. Если нации отомрут – умрут и языки.

А из порожнего – не пьют, не едят.

Я замечал, что именно евреи чаще других настаивают: не обращать внимания на национальность! при чём «национальность»? какие могут быть «национальные черты», «национальный характер»? И я готов был шапкою хлопнуть оземь: «Согласен! Давайте! С этой поры...». Но надо же видеть, куда бредёт наш злополучный век. Едва ли не больше всего различают люди в людях – почему-то именно нацию. И, руку на сердце: настороженнее всех, ревнивее и затаённое всех – отличают и пристально отслеживают – именно евреи. Свою нацию.

А как быть с тем, что – вот, вы читали выше – евреи так часто судят о русских именно в целом, и почти всегда осудительно? Тот же Померанц: «болезненные черты русского характера», среди них «внутренняя шаткость».

(И ведь не дрогнет, что судит сразу о нации. А поди-ка кто вымолви: «болезненные черты еврейского характера»! Русская «масса разрешила ужасам опричнины совершиться над собой, так же как она разрешила впоследствии сталинские лагеря смерти». (Не советская интернациональная чиновная верхушка разрешила, нет, она ужасно сопротивлялась! – но эта тупая масса...). Да ещё резче: «Русский национализм неизбежно примет агрессивный, погромный характер» – то есть всякий русский, кто любит свою нацию, – уже потенциальный погромщик!

Выходит, с теми чеховскими персонажами на несостоявшейся ранневесенней тяге остаётся и нам только вздохнуть: «Рано!»

Но самое замечательное: чем увенчивается второе письмо ко мне Померанца, так настойчиво требующего не различать наций. В этом многолистном бурном письме (и самым раздражённым, тяжёлым почерком) он указал-таки мне, и притом в форме ультиматума! – как ещё можно спасти этот отвратительный «Круг первый». Выход у меня такой: я должен обратить Герасимовича в еврея – чтобы высший духовный подвиг в романе был совершён именно евреем! «То, что Герасимович нарисован с русского прототипа, совершенно не важно», – так и пишет незамечатель наций, только курсив мой. Но, правда, давал мне и запасной выход: если всё же оставлю Герасимовича русским, то добавить в роман равноценный по силе образ благородного самоотверженного еврея. А если я ни того, ни другого не сделаю, то – угрожал Померанц – открыть против меня публичную баталию. (На это предложение я уже не отвечал.).

Кстати, потом эту одностороннюю баталию – называя её «нашей полемикой» – он и вёл в зарубежных изданиях и в СССР, когда стало можно, притом повторяясь и перепечатывая те же свои статьи с исправлениями огрехов, отмененных оппонентами. В этом

развороте он и ещё раскрылся: что только одно Абсолютное Зло в мире было и есть – это гитлеризм, тут наш философ – не релятивист, нет. Но заходит речь о коммунизме – и этот бывший лагерник, и совсем же никогда не коммунист, вдруг начинает вымалвливать, и с годами всё твёрже (оспаривая мою непримиримость к коммунизму): что коммунизм – не есть несомненное зло (а над ранним ЧК даже «клубился дух демократии»). А несомненное зло – это упорный антикоммунизм, особенно если он опирается на русский национализм (который, сказано же нам, не может не быть погромным).

Вот куда Померанц развился со своею вкрадчивой надмирностью и «безнациональностью». С таким перекосом, с такой пристрастностью можно ли послужить взаимопониманию русских и евреев?

На чужой горбок не насмеюся, на свой горбок не нагляжуся<...>.

Только забыто то, что русских-то подлинных – выбили, вырезали и угнели, а остальных оморочили, озлобили и довели – большевицкие головорезы, и не без ретивого участия отцов сегодняшних молодых еврейских интеллигентов. (Нынешних – раздражают те хари, которые поднялись с 40-х годов наверх, в советское руководство, – так и нас они раздражают). Но лучших – всех выбивали, не оставляли.

«Не оглядывайся!» – учил нас потом Померанц в своих самиздатских эссе, – не оглядывайся, ибо так Орфей потерял Эвридику.

Но мы – уже потеряли больше, чем Эвридику. Нас и с 20-х годов так учили: выкинуть всё прошлое с борта современности.

А вот пословица русская советует: иди вперёд, а оглядывайся назад.

Нам – никак нельзя не оглядываться. Ничего тогда не поймём...

Виктор Степанович АРНАУТОВ.

Родился в 1951 году в селе Пудино Томской области.

Окончил Кемеровский институт культуры и аспирантуру Ленинградского института культуры. После службы на Дальнем Востоке в морской пехоте вернулся к преподавательской работе.

В 2001 году принят в Союз писателей России. Публиковался в журналах и альманахах Сибири. Издано 7 книг.

Живет в Кемерове.

Владимир Петрович БОЙКО.

Родился в 1952 году. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и политологии ТГАСУ. Сфера интересов – история российского предпринимательства. Основные труды: «Томское купечество в конце XVIII–XIX веках. Из истории формирования сибирской буржуазии» (Томск, 1996), «Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX веков» (Томск, 2007).

Живет в Томске.

Сергей Константинович ДАНИЛОВ.

Родился в 1956 году в Барнауле. В 1978 году окончил Томский университет. Рассказы публиковались в альманахе «Каменный мост» и журнале «Начало века». Автор повести «Доктор Трупикина», романа «Сезон нежных чувств».

Живет в Томске.

Валерий Анатольевич ДОМАНСКИЙ.

Родился в 1950 году. Доктор педагогических наук, профессор ТГУ. Автор нескольких поэтических книг, руководитель литературной

студии университета «Juvenes dum sumus».

Живет в Томске.

Сергей Алексеевич ЗАПЛАВНЫЙ.

Родился в 1942 году. Окончил Томский университет. Автор многих книг, в том числе по истории Томска. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России.

Живет в Томске.

Татьяна Бодовна ИОГАНЗЕН-РЮБКЕ.

Родилась в Томске. Доцент Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

Живет в Томске.

Александр Петрович КАЗАРКИН.

Родился в 1941 году в селе Дресвянка Новосибирской области.

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой Томского университета. Критик, литературовед. Член Союза писателей России.

Живет в Томске.

Тамара Александровна КАЛЁНОВА.

Прозаик, автор ряда повестей, романа «Университетская роща». Член Союза писателей России.

Живет в Томске.

Михаил Михайлович КАРБЫШЕВ (1922–2007).

Родился в селе Десятово Томской области. Фронтовик. Вся послевоенная жизнь связана с Северском. Стихи начал писать после сорока лет, но сразу обрел свой голос. Издано шесть поэтических книг и книга прозы «Десятовские были».

**Вениамин Анисимович
КОЛЫХАЛОВ.**

Родился в 1938 году в селе Кандин Бор Томской области. Воспитывался в Усть-Чижапском детском доме. Служил в армии, был грузчиком, слесарем, корреспондентом газет. В 1967 году принят в Союз писателей СССР. Автор многочисленных книг стихов и прозы.

Живет в Томске.

**Владимир Анисимович
КОЛЫХАЛОВ.**

Родился в 1934 году в селе Сосновка Томской области. Воспитанник Усть-Чижапского детского дома. В 1969 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. Работал на Дальнем Востоке в геологических партиях, корреспондентом радио, газеты «Амурский комсомолец». В 1971 году переехал в Томск. Автор многих книг прозы, среди которых наибольшую известность обрели «Дикие побеги» (1968), «Июльские заморозки» (1973), «Когти дьявола» (1993).

Живет в Томске.

**Владимир Михайлович
КРЮКОВ.**

Родился в 1949 году в селе Пудино Томской области.

Окончил Томский университет. Работал в сельской школе, сторожем, в газетах.

Автор сборников стихотворений и книг стихов и прозы.

Совместно с профессором А.М. Сагалаевым написана книга-биография «Потанин, последний энциклопедист Сибири». Член Союза российских писателей. Живет в селе Тимирязевском под Томском.

Хартмут ЛЁФФЕЛЬ.

Родился в 1937 г. в Штутгарте, детство и юность провел в Тюбингене. Окончил факультет германистики в Тюбинге (Германия) и факультет романистики в Бордо (Франция). Учился играть на скрипке в основном, у частных учителей, а затем у известного педагога, который обучал солистов Загреба. После окончания университета работал преподавателем в гимназии, позже был учителем по классу скрипки в музыкальной школе и музыкальном училище г. Бибераха. Выпустил 4 книги лирики, а также 5 книг прозы. Его пьеса «Лукавый Лазарь», повествующая о последних восьми годах жизни Генриха Гейне, в 2004 г. была переведена Т. Кудрявцевой на русский язык и опубликована в одном из московских издательств. Лёффель – член союза немецких писателей. Его литературные заслуги отмечены премиями: в 2006 г. он получил баварско-швабскую литературную премию, в 2007 премию академии Баден-Вюртембергского края.

Михаил Васильевич УСКОВ

Родился в г. Тайга Кемеровской области в 1935 г. В Томске с 1952 года. Закончил лесотехнический техникум, а после службы в армии – юридический факультет университета. Более 20 лет проработал в судебных органах. Ветеран труда. Давно пишет стихи и рассказы. Печатался в коллективных сборниках, Издал несколько книг.